



ЭКСПРЕСС - КНИГА

Эрнст Неизвестный



**ЛИК -
ЛИЦО -
ЛИЧИНА**

ВЫ СОЖАЛЕЕТЕ, ЧТО НЕ СМОГЛИ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ "ЗНАМЯ"?
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЖАЛЬ, НО МЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ ВАША ПОТЕРЯ НЕ ОКАЗАЛАСЬ НЕВОСПОЛНИМОЙ.

ВАМ НЕ ХОЧЕТСЯ МЕСЯЦАМИ ДОЖИДАТЬСЯ КНИЖКИ, О КОТОРОЙ ВСЕ ГОВОРЯТ?

ВАМ НАДОЕЛИ ОЧЕРЕДИ? ВЫ ХОТИТЕ ПРОЧЕСТЬ ЖУРНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР, НЕ ЗАЧИТАННЫМ ДО ДЫР В БИБЛИОТЕКЕ ИЛИ У ВАШИХ ЗНАКОМЫХ?
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ЗНАМЯ" (МОСКВА) И ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ПОЛИФАКТ" (МИНСК) ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ

ИЗДАТЕЛЬСКУЮ НОВИНКУ

ЭКСПРЕСС - КНИГА – ЭТО НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ЧИТАТЕЛЯМ.

В КНИГАХ ЭТОЙ СЕРИИ ВЫ ПРОЧТЕТЕ ЛУЧШИЕ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГОДА.
ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ЖУРНАЛ, ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО **ЭКСПРЕСС - КНИГА ВАМ НИ К ЧЕМУ? НЕ ТОРОПИТЕСЬ ОТКАЗЫВАТЬСЯ.**

ПОДПИСЧИКАМ ЖУРНАЛА БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ РВАТЬ ЕГО НА ЧАСТИ, ПЕРЕПЛЕТАЯ БЕСТСЕЛЛЕРЫ В САМОДЕЛЬНЫЙ ТОМ.

МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО ЗА ВАС – ЭТО **ЭКСПРЕСС - КНИГА**

ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ НОРМАМ СРОК ВЫПУСКА КНИГ "БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ" – ГОД ПОСЛЕ ЖУРНАЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИИ.

ЭКСПРЕСС - КНИГА ВЫХОДИТ ОДНОВРЕМЕННО С ЖУРНАЛОМ.

ЭКСПРЕСС - КНИГА – ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ ИЗБРАННЫХ ЖУРНАЛЬНЫХ СТРАНИЦ.

ПОКУПАЯ КНИГИ НАШЕЙ СЕРИИ В ЭТОМ ГОДУ, ВЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БЕЗ ЖУРНАЛА ВАМ НЕ ОБОЙТИСЬ.

**Председатель правления "Полифакта" –
Евгений Будинас**

ЭКСПРЕСС - КНИГА

**Эрнст
Неизвестный**

**ЛИК -
ЛИЦО -
ЛИЧИНА**

Рисунки автора



"ПОЛИФАКТ" – "ЗНАМЯ"

МИНСК – МОСКВА

1990

ББК 84.Р.7
Н 15

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭРНСТ.

Н 15 Лик — лицо — личина.— Минск — Москва, «Полифакт» — «Знамя». (Серия «Экспресс-книга»).—32 с.

Книга знакомит с прозой известного скульптора Э. Неизвестного, который с 1976 года живет в эмиграции.

В Советском Союзе рассказы Э. Неизвестного публикуются впервые.

4702010200

ББК 84.Р.7

© «Знамя». 1990.
© Оформление. «Полифакт». 1990.
© Оформление. Л. Бетанов. 1990.

КРАСНЕНЬКИЕ И ЗЕЛЕНЕНЬКИЕ

Как-то мой приятель — не маленький аппаратчик ЦК — выручил меня, взяв билет на самолет в своей кассе, что в обычной сделать было невозможно в этот день. Он просил прийти к концу работы на Старую площадь, к зданию ЦК, и подождать его, поскольку он может задержаться.

Так и случилось. Кончился рабочий день, и из дверей посыпались люди. Моего приятеля среди них не было, и, поскольку приходилось ждать и, по возможности, не скучать, я начал рассматривать единый мозг страны, вываливавшийся из ячеек кабинетов и рассыпавшийся в отдельных особей.

Но неожиданно для себя я заметил, что это множество людей не воспринимается мной как обычная толпа, имеющая персонализированное многообразие. Это сытое стадо было единообразным. Передо мной проходили инкубаторные близнецы с абсолютно стертыми индивидуальными чертами. Разница в весе и размере не имела значения.

Такое огромное количество внеиндивидуальных масок, костюмов, жестов буквально ошеломило меня. Но постепенно я начал их дифференцировать. Я увидел, что эти люди, отпущенные с работы и вываливаемые лифтами с этажей на улицу, различаются — но не персонально, а группово, как две породы одного вида. И для себя я обозначил их как «красненьких» и «зелененьких».

«Красненькие» — как правило, крестьянский тип людей (тип грубого крестьянина, а не ладного и аристократического мужика). Хорошие костюмы сидят на них нелепо; пенсне, очки — все как будто маскарадное, украденное, чужое. Они как-то странно и неестественно откормлены. Это не просто толстые люди, что нормально, — нет, эти люди явно отождрались несвойственной им пищей. Они как бы предали свой генотип. Видно, что стенически они призваны работать на свежем воздухе и что их предки из поколения в поколение занимались физическим трудом. Вырванные из своего нормального предназначения, посаженные в кабинеты, они стали столь же нелепыми, как комнатная борзая. Эти люди — красненькие в прямом смысле слова. Их полнокровие неестественно и не ощущается как здоровье. На щеках у них играет утрированный багровый румянец. Они не знают, что делать со своими странными, отвыкшими от работы руками, распухшими, мертвыми, напоминающими лапы. Плоть, раскормленная сверхкалорийной пищей и не усмиряемая полезной деятельностью, разрослась: всего у них много — щек, бровей, ушей, животов, ляжек, ягодиц. Они садятся в машину так, как будто их мужские гениталии мешают им, но при этом не теряют карикатурного достоинства. По всему видно, что они-то и есть — начальство.

А вот и «зелененькие». Поначалу их трудно отличить в этой однорожей толпе. Но, присмотревшись, ты замечаешь, что часть близнецов обладает большим воображением в жестах и поведении, и уже по одному этому видно, что это какие-то затруханные интеллигенты, которым никак не удастся достичь стенического совершенства «красненьких». И как ни скрывай — видно, что ты из университета, из журналистов, из философов или из каких-то там историков, — в общем, оттуда, откуда настоящий человек появиться никак не может. И даже если они достаточно красны, то гармонию нарушают красные *от работы* глаза, что резко отличает их от

не замутненных никакой мечтой, прозрачных глаз «красненьких». Даже и не заглядывая в секретные списки, понятно, что «зелененькие» — референтский аппарат. У них, у «зелененьких», явно испитый вид (что, конечно, не свидетельствует о том, что «красненькие» пьют меньше).

Они, «зелененькие», в сравнении с каменной повадкой «красненьких» — юрки, нервны. И против киноvari «красненьких» они бледноваты, красны недостаточно, хотя едят ту же пищу; но эта пища не идет им впрок.

«Красненький» потому так победно красен и спокоен, что он создан для того, чтобы принимать всегда безупречное решение. Он принадлежит к той породе советских ненаказуемых, которая может все: сгноить урожай, закупить никому не нужную продукцию, проиграть всюду и везде, — но они всегда невозмутимы, ибо они — не ошибаются. Они просто по социальным законам не могут ошибаться. Эта беспрецедентная в истории безответственность целого социального слоя есть самое крупное его завоевание, и совершенно ясно, что они скорее пустят под откос всю землю, чем поступятся хоть долей этой удивительной и сладостной безответственности.

Они безнаказанно могут заплевать и испакостить нужнейшие стране научные тенденции и открытия, произведения литературы и искусства, составляющие гордость нации.

И они же — даже лица все те же, не другие, — как только жизнь докажет их неправоту и правоту затравленных ими людей и идей, — будут присутствовать и произносить речи на юбилеях и похоронах мучеников культуры и искусства.

Они присвоят себе заслуги замученных и наградят друг друга за дела тех, кого они убили.

Они украшают друг друга орденами побрякушками и регалиями.

Они поздравляют друг друга с наградами.

Они восхищаются друг другом.

Они косноязычны — но они говорят не переставая. Только они говорят, остальные молчат. У них — радио и телевидение, у них — газеты, у них — кино.

У всех остальных есть одно только занятие: вкалывать за них и благодарить их за то, что они пока не отняли хотя бы воздух.

Они требуют, чтобы все без исключения восхищались ими.

Они довольны — и правы в своем довольстве: когда они говорят «жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи» — они не врут. Где, когда, в какую эпоху люди, обладающие такими качествами, могли получить так много? И не поплатиться при этом за глупость и хамство, нерадивость и расточительность — да просто за общее и несомненное безобразие собственной личности?

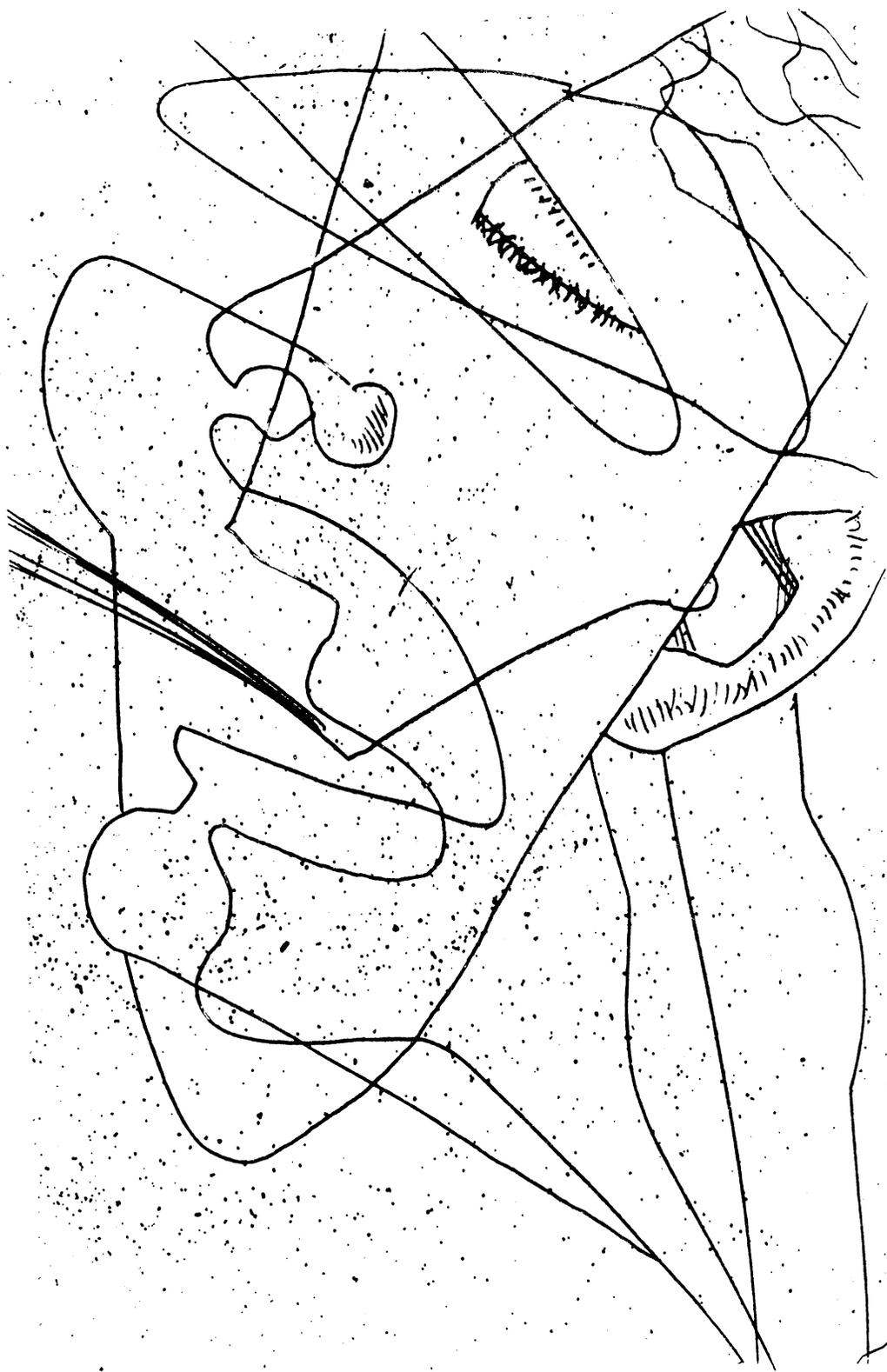
История — не невинная девица, было в ней много злодеев и садистов, но столь тотально-бездарных победителей, я думаю, не было никогда.

Поскольку «красненький» от природы безгрешен, никакой намек на компетентность ему в принципе не нужен. Кроме того, если ему и приходится выбирать, то из двух простейших вариантов: ДА и НЕТ. И ДА и НЕТ разработаны референтским аппаратом, и ДА и НЕТ одинаково научно обоснованы. Кроме того, по законам групповой безответственности, по законам аппарата, частью которого они являются, «красненькие» функционируют не индивидуально, и как только некое определенное количество «красненьких» зажглось как ДА или как НЕТ — принимается решение.

Единство и равнобездарность «красненьких» гарантирует их стабильность, что бы ни происходило со страной по их групповой воле или групповой летаргии. Любое движение такого огромного тела, такой огромной массы, как СССР, порождает событие, называемое или кажущееся историческим, и наделяется часто смыслом, о котором многочисленные виновники этого события даже и не помышляли.

Уже в силу реакции мира на любой их полудремотный, полусознанный поступок, у «красненьких» возникает реальное чувство значительности и безошибочности принимаемых решений. «Красненький», пока не снят, всегда в выигрыше. Время идет, события развиваются, и само сидение «красненького» в своей ячейке-кресле уже есть победа. А победителей не судят.

Представьте себе, что генерал А выиграл бой по своей схеме. Этим



как бы механически подчеркивается, что схема генерала Б была порочна и неверна. Но почему же? Ведь схемы генерала Б никто не пробовал — может быть, она была целесообразней, может быть, она была оптимальной! Но историю не переиграешь, и генерал А навсегда остается победителем, а генерал Б — неудачником.

Итак, «красненькие» никогда не ошибаются, ошибаются только «зелененькие». «Зелененькие» — это те, кто мычание «красненьких» должен превратить в членораздельную речь. Те, кто должен угадать их желания, но сформулировать их так, чтобы коллективный мозг признал формулировки своими, как если бы «красненькие» сами их создали. Чудовищная работа, неблагоприятная, бессонная, — и, ко всему, по тем же муравьиным законам аппарата, она перестает быть творческой.

Один «зелененький», бросив свою собственную фразу в ворох фраз других «зелененьких», теряет ее; потом они все вместе все это мусолят, и в этом общем вареве никто уже не знает, где начало, где хвост его мысли и фразы. Я не знаю, есть ли действительный смысл в их работе, но когда я слушаю выступления главных «красненьких», то для меня совершенно очевидно, что слова, которых «главкрас» не может выговорить, вписаны его «зелененькими», но общий смысл, конечно, соответствует интересам «красненьких».

«Зелененькие» страдают множеством аппаратных комплексов. Им всегда кажется, что они лучше, чем «красненькие», знают, что нужно делать для успеха и благополучия «красненьких», — что, разумеется, неверно, ибо именно «красненькие» — величайшие мастера знать собственные выгоды!

«Зелененькие», даже обладая иногда серьезным влиянием, тем не менее остаются париями партии, хотя для постороннего взгляда это может быть и незаметно. «Красненькие», даже провинциальные, даже находящиеся ниже по официальному рангу, относятся к «зелененьким» высокомерно, потому что способ их красненькой жизни, их карьеры строится по законам нормальным: от первичной партиячки до заоблачных партвысот. Они, «красненькие», — и есть внутренняя партия. Им свыше предназначено править всеми людьми, животными, лесами, реками, горами, прошлым и будущим страны. И, конечно же, внешней партией. И если «зелененькие» и дорастают до уровня «красненьких», то путем гигантских нервных издержек, путем отказа от многих своих личных привязанностей и интеллектуальных претензий.

«Красненькие» же спокойны. В отличие от «зелененьких», они неспособны к анализу общественных условий, элементом которых они являются. Им не приходится сомневаться и нет нужды от чего бы то ни было отказываться, они просто живут и делают карьеру по праву «красненьких». Конечно, нельзя считать, что «красненькие» всегда и обязательно глупее «зелененьких». Рефлексия, связанная с многознанием, — еще не ум. Но в силу многих причин «зелененькому», прежде чем совершить то, что он считает подлостью, нужно оправдать это теоретически. Исторический детерминизм, диалектика и обветшалые догмы уже не дают ему возможности вычислить эффективность жертв, принесенных на алтарь прогресса, — он ищет новых догм, но — увы! — упирается в старые: государство, нация, империя и т. д. и т. п. Он грустен, потому что пессимист — всего только хорошо информированный оптимист. Информация порождает ворох мыслей, которые, даже быстро проходя, все-таки оставляют след в душе. Либеральная поза, застольное ухарство и цинизм — не спасение. Конечно, в свободное от работы время можно пить, что и делается.

«Красненькому» же для спокойствия и самоуверенности не нужен даже простой бытовой цинизм. Он поступает безо всяких там теорий — только так, как ему лучше. Он всегда уходит от дискомфортной ситуации. Амеба убегает от капли серной кислоты не потому, что она что-то о ней знает. Не разбирается в химии амеба. «Красненькие» исходят из самых простых предпосылок. Вся их философия укладывается в поговорку: «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». Они делают карьеру, потому что знают: чем выше — тем лучше живешь, меньше работаешь и меньше несешь ответственности.

«Зелененькому» же, особенно с претензиями на какие-то остатки иллюзий или своей личности, — трудно. И они находятся внутри аппарата,

как сложное существо внутри примитивного, но могучего и огромного одноклеточного, которое до поры до времени по своим биологическим нуждам терпит некоторые качества «зелененьких». Но рано или поздно эта гигантская амеба превратит их в состав своей ткани или просто выплюнет. Как сейчас общество, для того чтобы скорей превратиться в гомогенную недифференцированную массу, выплевывает в тюрьму, эмиграцию или катакомбную культуру все, что отличается от повседневной и обязательной, законами предписанной серости. «Зелененькие» и приткие циники-интеллектуалы — просто временное отклонение, вынужденная тактика. В сложившейся ситуации ясно, что простейшее этой системе свойственной.

Самым неправдоподобным для нормального человеческого сознания является элементарность множества личных желаний, становящихся социальным явлением, которое приводит в движение эту машину. Масштаб последствий порождает иллюзию сложности и накручивает научные и псевдонаучные теории и термины, анализы и аргументы, навязывающие миру столь изощренную картину, что просто диву даешься. Почему любого насильника, который умудрился изнасиловать мир самым грубым и вульгарным способом, армия интеллектуалов непременно пытается изобразить великаном? Видимо, очень не хочется сознаваться в том, что нас часто насилуют пошлые и тупые карлики. Низ народного тела побеждает верх, но не в положительном смысле карнавала, а в самом прямом смысле. Задница разрослась и, оставаясь задницей, заняла место всего остального, поэтому питекантроп неминуемо победит человека, крыса — питекантропа, а вошь — крысу...

Так я стоял и фантазировал у дверей самой огромной конторы мира, и мне стало жалко «зелененьких людей», тратящих свой, часто незаурядный ум и талант на эту страшную игру в бисер, и я почти увидел, как они вот-вот все начнут похрюкивать и встанут на четвереньки; я почти физически почувствовал, как их рассасывает это серое-серое здание, незаметно, день за днем, отнимая ум, инициативу, талант и в первую очередь — главное: человеческое достоинство.

От безликой толпы отделился человек с очень красным, полнокровным лицом, я сперва не узнал своего приятеля — он был такой же, как все; но уже издалека я понял: это «зелененький».

«ВЕСЕЛЫЕ ПОРОСЯТА»

Очень часто западных людей — да и не только западных — вводит в заблуждение человекообразие современных советских деятелей государства, идеологии и культуры. Эти функционеры, если и не находятся на самом верху лестницы, часто занимают достаточно высокое официальное положение. Благожелательных западных партнеров по диалогу очень обнаддеживает знание языков, литературы и приятное домашнее свободомыслие их относительно нестарых собеседников (как правило, это люди среднего поколения). Многие западные наблюдатели видят в этом знамение изменений, якобы происходящих в самом управленческом аппарате.

Не находясь в плену подобной иллюзии, но и безо всякой предвзятости, я дружил с некоторыми людьми этой категории. Мне очень скоро стало понятно, что связывать надежды на изменение структуры управленческого аппарата с наличием там таких личностей — часто незаурядных — беспочвенно. Скорее, эти личности меняются в сторону, нужную аппарату, чем наоборот. Да и странно было бы думать, что можно изменить ход машины, находясь внутри нее и выполняя частную функцию, подобную функции крохотной, автоматически заменяемой детали кибернетической машины.

А система представляет собой машину, отлаженную машину. И места, занимаемые людьми, являются ячейками, лунками внутри машины, так что работает место, а не человек, находящийся там. Человек может

создать микроколорит внутри этой камеры, но сама система работает по законам машинерии, и всякий, кто пытается персонально на нее повлиять, вылетает из машины или уничтожается ею.

Сейчас, я думаю, машина еще более отлажена, чем во времена Сталина и Хрущева. Поэтому она и так некрасочна, и стабильна, и удивительно скучна. Действия этой машины могут поражать воображение, но если ее проанализировать — она окажется элементарной. Для ясности можно привести такой пример. Представьте себе очередь. Стоят в этой очереди генерал и поэт, стоят ребенок и слесарь, художник и красавица, стоят профессор и домработница. Но ведь не личные качества, биографии, судьбы и характеры составляют очередь. Очередь деперсональна; то, что составляет ее, происходит в промежутке между людьми — пространство, воздух между впереди и сзади стоящими содержит общественный договор, скрепляющий очередь.

Примерно такая же ситуация возникла в сегодняшнем советском обществе. Никто ничего персонально не решает, все «утрачивается». Вопрос поднимается вверх, уходит вбок, спускается вниз — то есть решение проходит все так называемые заинтересованные инстанции, вентилируется, утрачивается, снова вентилируется, — и, по законам некоей комбинаторики, устанавливается порядок, принимается решение, родившееся в промежутке.

Но олигархия функционеров — конечно, не движение к демократии, как многим хотелось бы. Ведь сталинизм — это не просто прихоть или ошибка Сталина. Это исторически сложившаяся ситуация, при которой функция управления такова, что кардинальные изменения изнутри аппарата невозможны. Конечно, сейчас один функционер не может схватить и бросить в застенки другого, но все вместе они могут это сделать с кем угодно; и если не всегда посадить, то затравить, заплевать, заставить эмигрировать или умереть. Терроризм продолжается, просто личный терроризм Сталина заменен терроризмом машины, создателем которой он считается. Конечно, работа советологов, пытающихся угадать развитие событий, исходя из оценок личных качеств руководителей, интересна, но навряд ли существенна без понимания того, что не это — главное. Главная же загадка лежит в принципах этой небывалой машины, где, по существу, нет личностей и даже нет мозгового центра в том смысле, как принято об этом думать. Таким способом согласуются единство и безопасность, мечта современно аппарата власти. Поэтому так стабильна, так неизменяема эта система. Амеба, у которой жизненные центры — везде и нигде.

И так как люди с цивилизованными манерами являются частями машины террора, то, видимо, надо рассматривать их функцию внутри управленческого аппарата. Это неизбежно приведет нас к выводу, что поскольку они пока не отстранены от дел и выступают в качестве умных, элегантных и якобы свободомыслящих собеседников, то это означает лишь, что именно в этом качестве они сегодня и нужны машине; но ни о каких существенных изменениях это не свидетельствует и свидетельствовать не может. Реальная суть их действий не отклоняется от целей их грубоватых учителей, ходивших в пиджаках первых сталинских пятилеток и не умевших говорить не то что «по-иностранному», но и на родном русском.

Эти мешковатые старики, с масками добродушных обывателей, эти людоеды, боявшиеся собственных жен, до сих пор не научились словам «коммунизм» и «социализм» (видимо, в силу этого они и пережили сталинские чистки), но их «коммунизмов» и «социализмов» оказалось достаточно, чтобы держать мир за глотку. И их элегантные ученики, переводящие «социализму» и «коммунизму» на все языки мира, щелкающие всеми красотами герметической культуры, всеми новейшими геополитическими терминами, так старающиеся выглядеть либералами, — служат (да иначе и быть не может) «коммунизму» и «социализму» в незамысловато-полицейском варианте своих учителей и наставников. Но при этом они искренне хотят выглядеть либералами. Они с наслаждением ведут культурные, свободомысленные разговоры, они хотят быть тонкими ценителями искусств — особенно они любят подарки от проклятых художников, они коллекционируют проклятую литературу и музыку. (Я сам с удивлением слушал песни запрещенного Галича на квартире у одного из мощников Брежнева. Но все это продельвается, разумеется, при полном отсутствии свободомыслия в их реальных делах.)

Гений лицемерия широко и вольно распахивает здесь крылья. Как и у всякого достаточно широко распространенного явления, у него много причин. Пока отметим одну *психологическую*, и далеко не самую пустую. Вся эта публика находится в плену двойственной внутренней ситуации. С одной стороны, они получили права и привилегии русского дворянства и купечества (разумеется, в своеобразном, партийном, варианте). У них невероятно (по современным масштабам, а сейчас, я думаю, и по мировым) высокий жизненный уровень: пайки, дачи, услуги; относительно высокая свобода передвижения (во всяком случае, в порядке культурного обмена с границей они предлагают только себя), информации. Но, в отличие от «законных» привилегий дворянства и купечества, их привилегии — в прямом смысле противозаконны, поэтому они законспирированы, скрыты от народа. И ни одна из них не имеет конституционного оправдания. Это создает, хотя бы на первых порах, некоторую психологическую неловкость перед интеллигентским кругом, из которого очень часто эти люди выходят. Ведь преподавание в школе и институте построено на уважении к традициям декабристов, Чаадаева — Радищева — Герцена, на традиции русского свободолюбия. И пока Молох революции пускал кровь, пока проходила борьба с оппозициями и врагами народа, в чад смерти и войн могло показаться, что все, в том числе и имущественное (разумеется, временное), неравенство, оправдывается диалектикой истории.

Но сейчас всем ясно, что *Бог революционных свобод в России умер*. И советская верхушка стала замкнутой суперсектой, окончательно оторвавшейся от задач, ее породивших, и имеющей одну цель: удовлетворение собственных, постоянно растущих потребностей и бесконечное продление своего существования. И людям достаточно грамотным ясно, что сама непроницаемость, окостенение, невозможность творчества в рамках этой секты, невозможность ее изменения изнутри, ибо общественная функция ее такова, что она не может измениться, не разрушившись, — свидетельствуют о реакционности развития общественного процесса.

Но — нувориши партийной элиты, дети XX съезда, положившего, в основном, начало их карьере, — они привыкли пусть к куцей, но либеральной позе, столь привлекательной для нежных сердец. Эта поза вызвала к жизни либеральную гримасу в поэзии, литературе, кино и наложила несмылаемую печать двойственности на целое поколение так называемых деятелей культуры.

Особенно культивировала эту двойственность творческая интеллигенция. После смерти Сталина кое-что всплыло и выяснилось. Победители — хуже побежденных, убитые и проклятые постепенно становятся классиками, а убийцы из официально назначенных гениев превращаются в общественном сознании в то, чем они были с самого начала: в дерьмо. И поскольку страдание, как выяснилось, удел гениев, а успех в делах — удел дерьма, то стало модно страдать. В России, по словам Пушкина, любить умеют только мертвых. И потому весьма ангажированные советские интеллигенты, сидя за черной икрой и настоящей русской водкой (доступной только иностранцам, правительству и им) в прекрасных квартирах и дачах, плачут крокодиловыми слезами — так, как будто именно они и есть оскорбленные и угнетенные, а не оскорбители и угнетатели. Они хотят быть страдальцами, не будучи таковыми. Они хотят славы повешенных декабристов и одновременно — комфортабельно и вкусно прожить свою жизнь. И если переполненный доброжелательной благоглупостью иностранный гость попадет в эту среду, ему может показаться, что он присутствует на конспиративной сходке действительных борцов и диссидентов. А если заглянуть в души рассматриваемых персонажей, то заветная мечта их откроется, как на ладони: быть главой КГБ, но иметь международную славу и престиж Сахарова и Солженицына.

Естественно, в большой реальности им это уже не удастся, но в рамках домашнего театра, щедро оплачиваемого государством, они подменяют ряд действительных проблем мнимыми и при помощи зарубежных наивняков создают видимость социальной жизни, видимость относительной свободы высказываний, — и фиктивной постановкой проблем создают красочную вуаль, прикрывающую старческое безобразие системы, стремящейся к уничтожению любой творческой индивидуальности.

Но в свое время, во времена хрущевской оттепели, борцам «справа»

и «слева» их борьба казалась социально содержательной. Еще бы! — как колыхались серые либеральные знамена, как противостояли им чугунные лбы старых, но еще стойких птеродактилей! Нет слов, чтоб описать кипельные чувства и размах битвы, например, уродцев из Союза художников с уродами из Академии художеств! Как билась разгоряченные сердца (а сердце у уродцев и уродов находится, как известно из древней литературы, у самого заднего прохода)! Вы и представить себе не можете атмосферу этих битв!

Да, история издала неприличный звук, как некогда Пантагрюэль, и породила уродов и уродцев. И время сейчас играет роль Панурга и заключает браки между ними, в результате чего народилось такое количество насекомых. Та историческая битва велась за святое святых — за ключ от сейфа, где деньги лежат. И выяснялось, кто важнее для государственной казны — серые из черных или серые из белых. Кто более достоин стать палачом духа, пребывающего в искусстве. Спор приобрел и теоретический размах. «Что такое социалистический реализм» — «сопли с сахаром» или «сопли с солью»? Решался научный вопрос, как должен выглядеть убийца в наши дни — страшно или сладко. Некоторое время художественная, творческая среда выглядела, как смешанный ансамбль дрессированных хищников: птеродактили, гиены и м.....и. Но в конце концов всех временно победили либеральные «веселые поросята». Почему временно? — потому что, по естественным социальным законам, они сами очень скоро превратились в птеродактилей. Они доказали, что заплечных дел мастер может и подселанить, и подхемингуэивать, и подкафкивать — без ущерба для идеологии. Они доказали, что могут лизать задницу власть имущим более квалифицированно и за меньшую плату; они доказали, что у них более острый нюх на врага и более быстрый бег за врагом. Как говаривал один из них: «Что-то эта работа мне нравится, надо нам к ней присмотреться, скорей всего в ней есть что-то антисоветское». Горький цинизм. Жалкий цинизм.

Я думаю, что круг таких людей уже составил стихийно сложившийся институт, взятый на вооружение государством. Совсем как валютные магазины, валютные б...и; как комфортабельные лепрозории для приемов и оболщения иностранцев, где грудастым переводчицам разрешено имитировать не только свободу взглядов, но и нравов — перед радостно удивленными гостями; где национальные меньшинства на всех языках страны говорят о свободе, пляшут и поют за иностранную валюту, которая так необходима государству, — делают то, что они давно уже перестали делать в собственных своих деревнях; где есть даже еврейский журнал.

В атмосфере лжи и камуфляжа появилось некое циническое братство, где протеста-душитель, сталинский птеродактиль в хромовых сапогах, уже не подходит: он нецелесообразен в сложившейся ситуации. Ему может найтись место в провинции, но никак не на фасаде, обращенном на европейскую и мировую арену. Люди этого братства вездесущи — от политика до исполнителя эстрадных куплетов. Это «ученые», «журналисты», «врачи», «киноработники», «художники», постоянные участники многочисленных международных конгрессов, гости посольств, несменяемые «львы» всех раутов и вернисажей, где присутствуют иностранцы. Они узнают друг друга по какому-то чутью, по цинизму — «мы одной крови, ты и я»; и чем более ты двойственен, чем быстрее ты меняешь маску — тем более ты свой, тем больше тебе цена в этой теплой компании.

Эти люди делают карьеру внешне *вопреки* старым советским законам. Именно благодаря своей двойственности. Но никто не должен обманываться: они сейчас нужны. Такова реальная международная обстановка, она обязывает.

Некоторые из них, возможно, при определенной социальной ситуации займут действительную позицию свободомыслящих либералов — когда общество поощрит их к этому и если им самим это будет выгодно. Но время работает против них. И циническое братство двоемысленных, как плесень, возникшая в атмосфере оттепелей и детанта, — есть некое испытание, всего только половое созревание советского функционера. Это юношеский онанизм. Такое баловство допускается только до определенного уровня. Но если начинается подлинная карьера — не на вторых, а на первых ролях, — то тут уж двоемыслие невозможно. И хоть делай ло-



ботомию, но будь, как все старшие, искренне смейся, когда все смеются; пой и пей, что поют и пьют все; ешь все, что все едят, и хрюкай, когда все хрюкают. И тогда либеральные юношеские черты окостенеют, пышные губы рта-хототальничка сложатся в жесткую и надменную щель, и подлинное, неподвижное социальное выражение, а не юркая меняющаяся маска, украсит твою отвердевшую, заматеревшую физиономию. Ты покинешь «референтский аппарат» и войдешь в святая святых. Из «зелененького» ты превратишься в «красненького».

ДВОР

Проспект Мира, 41. Обыкновенный день. Утро.

Нинка украла у матери дорогую брошку и выменяла на пол-литра.

Ее брат Николай пригнал огромную машину-грузовик. Ему парк, где он работает шофером, разрешил стоянку во дворе по причине его болезни: он пьяница.

Сварщики с соседнего завода попытались продать мне вынесенный с родного государственного предприятия тяжеленный сварочный аппарат. Не продав, они, чтоб далеко не ходить, бросили его тут же, у меня во дворе, и начали клянчить пять рублей. Убедившись, что у меня их нет, они попросили бутылки, стоявшие у окна, в надежде сдать их, получить деньги и опохмелиться.

Бутылки, бутылочки, пузырьки, шкалики, мерзавчики, баночки, сосудики... Московский двор начинает свою жизнь с мыслью о бутылке. Граждане и товарищи ищут деньги, чтобы опохмелиться. Без привычной утренней дозы алкоголя нельзя — невозможно трясущимися руками начать работать. Двор умирал от жажды — его томил похмельный синдром. Этот синдром порождал массу историй — забавных и трагических. Собственно, вся история двора и вся биография его обитателей покоилась на событиях, связанных с опьянением или мучительным желанием опохмелиться. Все разговоры вертелись только вокруг бутылки. Время сплющилось и остановилось в алкогольном бреде: не было ни «вчера», ни «завтра», а было только — «сперва взяли банку на троих, я, правда, до этого — грамм двести, было, для почину, но, однако, не двести, а почитай, триста, ну, значит, раздавили еще по одной — ты считай, значит, приятель, уже по восемьсот на рыло будет, а тут Васька говорит — давай солнцедар, а по мне хоть мочу, лишь бы забирало...

...смежу полные штаны, я ему и говорю, а он мне — молоко на губах не обсохло...

...Нинка, впрочем, тоже стерва — тихонькая, а как где — она тут, а как у самой — днем с огнем не найдешь...

...Бог с ней...

...живем снова...

...мой дядя самых честных правил...

...Семен, может еще сообразим?

...а нам что — обос... и в стойло!

...орлы, взмахнем крылами...

...а сам с копыт?

...нет, брат, нет, брат, некультурно: отойди и блюй культурно, имей понятие, а то — на людей: культура, мля...

...говорят, повара уволили с работы. За что, ребята? Горячую кашу х... мешал. — Ух, ох, гы, га-га, бррр, — смежу-то, смежу — полные штаны...

...тут Сенька со спиртягой, его козырь всегда старше, а я не против и денатуратику, только гнуть его, братцы, так — должен отстояться, няша уходит вниз, в стаканчик — сухарик, выпьешь — нектар, сухариком заешь, во рту так чистенько-чистенько...

...как на улице Донской меня е... доской...

...приняли по одной, дают — бери, бьют — беги...

...теща у меня, ребята, теща — «мимо тещиногo дома я без дела не хожу, то ей х... в окно просуну, то ей ж... покажу»...

...Однако, я вам скажу, не правы вы...
 ...у нас завсегда так...
 ...далеко еще, братцы, до коммунизма...
 ...ты меня уважаешь — я тебя уважаю...
 ...они — нас, я — его, мы тебя — ты нас...
 ...подрались маленько, потом я, он и даже...
 ...какая свадьба без стакана, какой еврей без «Жигулей», какая пьянка без Ивана, какой Иван без п...ей...
 ...эх, твоя татарская морда! — что? армянин? по мне, хоть китаец, лишь бы с бутылкой...
 ...эх, летали, как голуби, смеялись, аж ус...лись — ну хватит, робя, сачковать, на работу пора...

И я, со своими своеобразными интересами, скульптурой, Данте, Библией, и музыкой, и поэзией, был погружен в размягченное, не доброе и не злое, а полудиотическое общество улицы, где находилась моя мастерская. Не окраина и не трущоба — всего восемь минут от Кремля.

Я пытался создать непроницаемость, отдельность, своего рода бати-сферу, но это было возможно только внутри себя самого. Я нуждался во многом — бронза, гвозди, доски, гипс, глина, камень и т. д., и т. п. Многие годы я — оторгнутый от официальных заказов скульптор — не имел возможности получить это у государства, единственного хозяина всех этих благ. Поэтому я был потенциальным покупателем неофициального рынка — и я стал центром притяжения и жертвой похмельных интриг, и поэтому вся алчущая масса населения тащила к моим ногам все, что могла, — большей частью ненужные мне предметы и механизмы.

Чего только не предлагало в обмен на бутылку население, состоявшее вовсе не из уголовников, а из рабочих и служащих, не имевших возможности на свою скудную зарплату удовлетворить жажду и поэтому тянувшее из предприятий и контор все, что возможно! Мне предлагали женские дефицитные лифчики и трусы; чешские магнитофонные пленки; мясной фарш для пирожков; сложные электронные механизмы; ручного зайца; японские презервативы с усиками; лодочные моторы; золотую фольгу, украденную реставраторами кремлевских церквей; полуботинки хорошей кожи без подметок; ремни без пряжек и пряжки без ремней; дефицитный растворимый кофе; электронные лампы для телевизоров; иконы; типографский шрифт; драгоценный металл гарт; целлофановую пленку; туалетную бумагу; треножки для киноаппаратуры; значки, предназначенные только для иностранцев; всяческую рухлядь, украденную из дому: занавески, табуретки, этажерки, дамские чулки, платки, фотоаппараты, золотые монеты, корень женьшень, морфий из аптек, шприцы, бинты, йод — и все за бутылку...

Иногда — бутылку дорогого и, видимо, краденого коньяку в обмен на большее количество водки. Причем интересно, что незадачливые купцы могли часами уговаривать меня купить ненужный мне товар, но мое предложение чем-либо помочь мне и за то же время заработать больше, чем выторговал бы, воспринималось как оскорбление, и умирающий от жажды купец, не жалея ни своего, ни моего времени, вместо того, чтобы за двадцать минут заработать нужную на бутылку сумму, будет час тебя уговаривать, что тебе остро, жизненно необходимы, скажем, консервные ножи в количестве шестидесяти штук.

Торг сводится к следующему:

Я. Убирайся, мне этого не нужно.

ОН. Нет. Эрнст, ты не понимаешь, ключи — первый сорт, и все шестьдесят — за одну бутылку...

Я. Убирайся, ты мне надоел.

ОН. Нет, ты посмотри, какие ключи, абсолютно новые!

Доходило до рукопашной, очень часто назойливых купцов приходилось выбрасывать за дверь, но — увьи! — все это снова лезло в окно. Обитатели двора поняли, что есть моменты, когда я не могу сопротивляться и отказать. Увидят, например, иностранную машину — значит, важный гость, ну и лопитесь в дверь с шумом и грохотом: «Эрнст, дай на бутылку!» Ну и откупаешься, даешь — а что же делать? Ведь иностранец не поймет, если перед его глазами кому-нибудь морду начнешь бить! Сколько выдумки, сколько бесстрашия, сколько остроумия и нелепости порожд-

дало желание немедленно заполучить бутылочку — именно немедленно, а не через час, не через полчаса — сейчас, сию секунду; как говорится, вынь да положь!

Женька по пьянке прижал знакомую девчонку в телефонной будке и снял с бедняги часы — ясно, не затем, чтобы следить за быстротекущим временем, а выменять их на бутылку. К сожалению, он так и не успел совершить товарообмен и выпить, потому что через десять шагов его остановил милиционер, прибежавший на вопли огорченной девчонки. Не опохмелившийся Женька, как говорят, отделался легким испугом: за него хлопотал коллектив, он иногда красовался на доске почета как ударник коммунистического труда. Получил всего три года, но во дворе все уверены, что он освободится досрочно, да и в лагере Женька не пропадет — он хороший слесарь, так что и в лагере насчет бутылки все будет в порядке: там начальству хорошие работники очень даже нужны, потому что начальство там на свою бутылку имеет именно с них.

Вот приходит пенсионер и приносит тюк копировальной бумаги и канцелярских скрепок — все это для хорошей канцелярии на год работы, и все это за бутылку. А если поторговаться — продаст и за рубль. У меня нет пишущей машинки, и мне нечего скреплять, но мне жаль старика, и я предлагаю ему сделку: если он уйдет сейчас же со своим товаром и перестанет мне надоедать, я дам ему три рубля. Он согласен, но ему хочется срочно вышить, поэтому он просит о любезности: пусть товар полежит у меня, а потом он его заберет. Бросив огромный тюк, загромоздивший мне прихожую, он уж потом не стал утруждать себя и тюк не забрал, пришлось его выбросить на помойку. Бедный он бедный — жена его работает в канцелярии, а там, кроме канцелярских принадлежностей, украсть нечего, вот она ежедневно и таскает домой копировальную бумагу и скрепки, чтобы откупаться от мужа, но, увы, это неходовой товар!

И действительно, все говорят, что «Сергеичу с женой не повезло», у других-то товар куда более ходовой! Например, одно время очень процветал негоциант, выносивший с государственного предприятия вкуснейшее варенье. Но дела его несколько испортились после того, как он по пьянке и благодушию выдал тайну транспортировки: оказывается, он сшил себе целлофановые кальсоны с завязками внизу, так что варенье, залитое внутрь кальсон на ноги и на интимные, скрытые от взоров охраны, места не вытекало. Многие, в том числе и я, по причине излишней брезгливости перестали покупать у него товар, а многие — нет, ели так или кипятили и этим убивали микробов, которые могли выпрыгнуть в варенье из разных срамных мест предпринимателя.

За окном мастерской шум. Это сыновья моего помощника, милого и непьющего инженера, опять объявили войну своей престарелой и больной мамаше. Два обалдуя, по тридцать пять — тридцать восемь лет, вынесли ее во двор, на снег, на матрасе, и голую держат в одной рубашке, требуя, чтобы старуха выдала бутылку портвейна, где-то от них спрятанную. Соседи не вмешиваются, боясь огромных бугаев, я тоже — потому что понял: это бесполезно. Я уже как-то вызывал милицию, но, как только наряд приезжает, мамаша отрицает, что избита сыновьями, — боится их посадить. Впрочем, мне и моей помощнице кажется, что зря старуха боится: между всей этой публикой и столь же жаждущей бутылки милицией есть некое взаимопонимание, дажеговор. Но это уже другой разговор.

Но посмотрите, посмотрите! — сегодня стойкая и упрямая старуха победила мощных сыновей исключительно силой своего духа: несмотря на температуру и пытки, учиненные сыновьями, не сдалась; и прильнувшие к окнам болельщики увидели, как угнетенные неудачей и усталые обалдуи, которым надоело трудиться безрезультатно, бросили мамашу посреди двора и пошли, ссутулясь, искать счастья в другом месте.

Двор провожал их взглядом, в котором было двойное чувство: их жалели, так как вполне понимали, как трудно им с похмелья, но вместе с тем жалко было и избитую мамашу. Правда, некоторые — в основном мужчины — говорили: «Ну что упрямится старая? Все равно налижуются в другом месте. Отдала бы — и дело с концом, жалко ей, что ли, бутылки?»

О, бутылка, бутылка — символ жизни, вокруг которого крутится все, о, бутылка — мера всего: это стоит столько-то бутылок, а это — столько-

то... Как возненавидел бы двор какого-нибудь арабского шейха, если бы узнал, сколько он может купить бутылок за продаваемую им нефть! К сожалению, нефть в чистом виде, как известно, пить нельзя.

Вот ватага рабочих, ломавших соседний дом, обнаружила в подвале огромную бутылку чего-то — но чего? И как к местному интеллигенту, да к тому же еще пьющему, ко мне двинулась делегация, чтобы я их облагодетельствовал и определил — можно это пить или нельзя. Но, хоть у меня и высшее образование, хоть я и попиваю иногда, этого сказать я им все-таки не мог и посоветовал обратиться в аптеку. Но был найден гораздо более простой и совершенный способ: пошли к пивнушке и нашли добровольца, обладавшего смелостью камикадзе, прямо и честно все ему рассказали и предложили продегустировать, пообещав, что если он от первой не умрет, то разделит общую пьянку до конца, наравне со всей компанией. Сказано — сделано. Прямо перед окнами моей мастерской расположилась алчущая ватага во главе со смелым дегустатором, хватившим залпом стакан подозрительной жидкости, пахнувшей, однако же, вкусно — спиртом. Нетерпеливые собутыльники с радостью констатировали, что немедленной смерти не последовало, и выпитое, что называется, «прижилось» или «легло на кристалл». Просто и весело.

Чего только не пили в этом дворе! И денатурат под названием «голубой огонек», и политуру, в которую бросали соль, чтобы самое клейкое ушло на дно; и тройной одеколон, и зубную пасту, разведенную с водой, и валерьянку, и зубной эликсир невкусного фиолетового цвета — и ничего, сходило. Правда, не всегда.

На тех же ящиках перед моим окном умерли два человека, опохмелившиеся чем-то, не очень полезным для здоровья, и весь двор обсуждал, почему Петька погиб сразу, а повар, Петькин друг, не из нашего двора — из соседнего, еще несколько часов мучился. И пришли к выводу, что повар как-никак всегда ест и поэтому в желудке есть что-то, что помешало его сразу сжечь, а бедняга Петька, в общем, ничего не жрет, а когда пьет — то и вовсе, поэтому жидкость «вытекла сразу через живот».

То же случилось и со стариком Дюбаниным, отцом моего форматора Степана Дюбанина. Выпить у них, правда, было что, но старик попутал с похмелья бутылку, — да прямо из горлышка, да такого крепкого препарата, что как в глотку попало, так и ахнуть не успел — вылилось снизу наружу и потекло по полу.

Много, чересчур много можно рассказать по этому поводу. Вот так же погиб брат Дюбанина, но не оттого, что выпил плохого, а просто, выпив, разгорячился и похвастался, что поднимет столько, сколько и десяти человекам не под силу (был он грузчиком). Взвалили на него — ну, его и раздавило.

Ох, много можно рассказать на эту тему! И все это было — проспект Мира, 41, строение 4.

Мои соотечественники знают, что я не говорю ни слова лжи — и с ними такое бывало, а если не с ними, то с их знакомыми, а уж недоверчивый иностранец, если не верит, пусть попросит своих корреспондентов сходить по этому адресу и спросить, было ли все это или не было, и как там сынки Владимира Петрова живут, и что с Нинкой и ее братом, шофером Колькой, и что произошло с группой моих друзей-сварщиков во главе с бригадиром Папаней, принимавшей с утра, как обязательный школьный завтрак, по семьсот грамм портвейна на нос, — им еще и не такое расскажут. И, возможно, расскажут о двух старухах — удивительную русскую сказку...

О том, как жили-были две сестры. Обе не красные девицы, а пенсионерки. Одна — парализованная, а другая — относительно бодрая. И вот эта, другая, — относительно бодрая — хозяйничала, ходила за пенсией, в магазины, а первая, по причине паралича, лежала неподвижно. Жили они нелюдимо, к ним никто не ходил — смысла не было, ясно, что на опохмелку они все равно не дадут.

Жили они не тужили на своих пяти метрах и забыли уж, когда подали заявление на очередь на квартиру. Неожиданно привалило им счастье — дали им квартиру, которой они тридцать лет ждали. Но старухи заартачились, по каким-то соображениям не захотели уезжать. И инспектора к

себе та, подвижная, не пускала — под предлогом, чтобы не беспокоили ее парализованную сестру. Дом опустел, уже выбили стекла в соседних квартирах, уже начали отключать газ и электричество, а старухи все не съезжают. Воинственная ходячая так просто и сказала: расцарапаю лицо, кто войдет на нашу территорию, — хошь дворнику, хошь милиционеру.

Но в конце концов пришло время сносить дом, и тогда, несмотря на вопли старухи, ворвались все-таки туда милиционер и дворник с одним еще очень важным гражданином из райсовета. Запах больно нехороший был в комнате, не проветривалось, видно, тридцать лет — ровно столько, сколько квартиры ждали. Не проветривали — думали, наверное: вот новую получим — надышимся.

Но оказалось — дело не в этом. Оказалось, что на постели уже много лет лежала иссохшая мумия. Оказалось, что ходячая сестра, как умерла ее родимая, боясь лишиться пенсии на двоих, мумифицировала ее и много лет проспала с ней рядом. Удивительна научная хватка этой старухи: до сих пор ученые гадают тайну мумификации; говорят, что и Ленин-то — не мумия, а кукла, а вот у ней не сгнила сестренка! И удивительно выдержка этой старухи — жить с трупом, спать с трупом столько лет!..

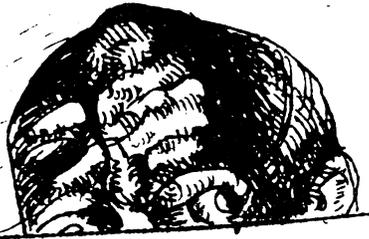
Даже меня — привычного, тертого — эта история несколько подкосила. Завидууй, Хичкок!

Но обитатели двора отнеслись к делу просто: на пенсию-то одну не проживешь — помрешь, так что же лучше — с трупом жить или самой мертвой быть? Вот так-то... Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет...

МОСХ (МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ)

Партбюро МОСХа. Почти все они калеки. Ансамбль хромых, косых, глухих, конечно, косноязыких. Эти дефекты — не трагический результат войны. Они таковы с детства. Еще в утробе их обидела неосторожная мать или не подчинившаяся Лысенко генетика. Кому ушко прижала, кому ножку защемила, третьего талантика да и умишка лишила. А этот, хоть и выглядит почти нормальным, но по выгибу хребта, по чрезмерной важности видно, что где-то, не то спереди, не то сзади в штанах хранит он навсегда уязвившую его тайну. Почти невозможно представить себе где-либо увидеть такое количество некрасивых, убогих, плохо одетых людей, собравшихся вместе. Это люди разных национальностей: русские, украинцы, евреи, татары, армяне. Но национальные черты стерты. И не в том смысле, когда культура сглаживает наиболее вульгарные, низкие национальные проявления. Нет. Природная убогость, серость, антиперсональность — сделала их одинаковыми и собрала в этой организации. В Центральный ресторан, где бывают туристы, швейцар их вместе не пустит, потому что они неопрятны и выглядят, будто ханурики от пивной или спекулянты-старички с толкучки. Но они власть; от них зависит почти все. Как же так получилось, что в среде художников, людей, как правило, одаренных и в массе физически полноценных и даже красивых, эти провинциальные уродцы, каждый из которых не только не умен, но даже не хитер, эти люди, которых в России называли рванью, эти самые неспособные и самые неудачливые, есть наиболее зловещая власть? Неужели величайшие умы истории, благородные и прекрасные люди шли в тюрьмы и на виселицы, революционно взбудораженные массы самоотверженно гибли только для того, чтобы эти издержки статистики от полноценно рожденных стали властью? Как так получилось, что из домов для калек, с папертей, из пивных — их, лишившихся единственного достоинства таких персонажей, смирения, жизнь привела к власти?

В таких областях, как философия, идеология, наука, производство, при относительно высокой организованности и полной включенности лю-



дей в структуру государства, продвижение по лестнице карьеры без формального присутствия в партийной организации невозможно. Поэтому в партию вступают все, претендующие на активную научно-административную роль. По причине же большого количества относительных «свобод» или, вернее, случайностей, ради заработка художнику вступать в партию не совсем обязательно. Если человек самонадеян, а нормальные художники в юности почти все гении, то связывать себя пока с партбюро не хочется. Во всяком случае, до поры, до времени. Наиболее циничные, считающие себя сильными, думают: никогда не поздно. Для них это действительно так. Юные же неудачники рано поняли возможность компенсировать все, все свои недостатки: отсутствие таланта, блеска, личного обаяния, отсутствие любви женщин, уважения товарищей или просто, что изо рта плохо пахнет, — приобщением к тайне власти. Комично и страшно смотреть на эту шеренгу ничтожеств, с важным и таинственным видом заговорщиков ковыляющих на закрытое заседание, в партийную комнату, в комнату Партии, где они минимум четыре часа будут сплетничать, сводить счеты и вырабатывать способы защиты от конкуренции более талантливых, ярких и хитрых коллег или выслушивать тайные письма и циркуляры вышестоящих инстанций, которые через двадцать минут после самого наизячайшего партсоборания становятся общеизвестными. Потому что приобщенные к тайне власти тщеславны и болтливы. В большинстве случаев они боятся своих жен, как огня, и поэтому компенсируют свои неудачи на семейном фронте, посвящая их для пущей важности и поднятия собственного престижа в партийные тайны.

Наиболее квалифицированные карьеристы, более пробивные из них, уже заседают в такой же партийной организации — Академии художеств. Там тоже не очень высокие стандарты, тоже не очень высокие типажи, но все же там их отмыли и приодели. Каждый в отдельности из них достоин жалости, но вместе они страшная и неодолимая сила.

В творческих союзах, как нигде, карикатурно проявляется отбор на худсовет, даже из самих членов партии. Что это — пренебрежение властей? Думаю, что нет. Сознательно или подсознательно, власти именно в искусстве видят опасность, таинственность, неуправляемость. Сложившийся веками тип художника, при всей его социальной униженности, всегда враждебен и опасен любой власти. Но власти, стремящейся к тотальному управлению, художник смертельно опасен именно тем, что он, по сути своей, неуправляем. Поэтому партбюро, за самым редким исключением, не подпускает к себе даже сколько-то одаренных художников — членов партии. Поэтому оно — сточная яма для неудачников в искусстве. Но именно из этой ямы фильтруются они в руководители, в законодатели; идут дальше и выше. Именно из этой ямы поползут они, чтобы весь мир организовать в огромный Союз художников; чтобы иметь возможность длинноволосых мальчиков сделать лысыми, шумных — тихими, темпераментных — сонными, поющих — заиками, стройных — горбатыми, молодых — старыми; прикажут умным прикинуться или стать глупыми, чтобы был порядок, чтобы все, чего не могут придурки, уродцы или старички, считалось плохим, чтобы никто и ничто не оскорбило их, хитрожопых. Уже ясно, что после завоевания Космоса они проползут и туда, чтобы выяснить: не находится ли там что-либо их оскорбляющее. А если найдут, то заорганизуют, укоротят, превратят в контру. Они не могут ждать милости от природы. Она уже их обделила. Поэтому переделат ее — их задача. Ибо они вши, претендующие на роль Бога, и хотят перекроить мир и человека по своему образу и подобию.

ПОРТРЕТИКИ

Корочки их парткнижиц одинаковы, но если заглянуть внутрь — не всем это можно, мне удавалось, — мы увидим разные номера и даже имена, что свидетельствует о нелишенности их пока до конца некоторых признаков личного начала. Это-то и не дает нам права отмахнуться от рас-

смотрения, как это ни противно, их портретиков. А поскольку они абсолютно одинаковы и разнятся только дефектами, то скажем так: портретиков-дефектиков.

Я закрываю глаза и вспоминаю их. Вот они чинно и важно ползут в полуоткрытую дверь парткомнаты. Я сижу у дверей и терпеливо жду своей участи, я осознаю смертельное ничтожество и скуку происходящего. Но сквозь полудремотную тяготиину ожидания из-за дверей комнаты партбюро слышится:

стук стук костыли
 коси нога коси нога
 клак клак вставной клык
 хи-хи-хи-хи
 и что-то булькает булькает
 вжиг вжиг
 скрипит скрипит
 шорохи
 пауза бр...
 неприличный звук
 и опять булькает булькает

Сама, как заколдованная, открывается дверь, и внезапно все стихает. Ниже дверной ручки высовывается человеческий носик и внимательно обнюхивает меня. Тихо-тихо, как заколдованная, дверь сама закрывается. И тут же снова что-то булькает, булькает.

О Боже! Что это такое? Кто там? Кто там? И, чтобы стряхнуть наваждение, я вспоминаю их, и передо мной возникают портретики-крохи моих судей, вершителей моей судьбы, моих властителей. Это они могут благо-склонно сказать: «Ну, что же, живешь — живи, мы не возражаем!». Это самое лучшее, что до конца дней со мной под их водительством может быть. А худшее, бр-р-р, не хочу даже лучшего. Кто же все-таки они?

Вот этот — театрально опирающийся на палку. Очень важная персона. Героический апокриф его жития повествует, что он потерял пальцы правой ноги в Ленинградскую блокаду. Его маме нечем было согреть ему ножки, и нежные детские пальчики отмерзли... Отмерзли они очень кстати. И культя попала в хорошие руки.

Потрясая своей героической культей, он выбил из Союза художников такое количество разнообразных благ, что никакому инвалиду — герою войны и не снилось. Но те, кто его знает с детства, утверждают, что он родился таким. Я тоже склоняюсь к этому. Сын хирурга, да еще сам инвалид войны, насмотревшись в армейских госпиталях различных ампутаций, я не очень-то верю в его, без единого шрама, гладкую, как задница, культю. Я не верю, что она свидетельство его младенческого патриотизма в героическом Ленинграде. Но именно влекомый ею, он прямо из люльки попал в вожди. Сперва в пионерские, потом в комсомольские, потом в партийные. Культя вела его все дальше и дальше, все выше и выше. Он только поспевал за ней. И, видимо, эта трижды благословенная культя скоро приведет его туда, куда самому быстроногому спринтеру карьеры никогда не добежать...

А вот и другой. У него один глаз. Но, в отличие от глаза циклопа, он расположен не над носом, а как у всех остальных простых смертных. Но это удивительный глаз. Клеветники, не знакомые лично с хозяином этого глаза и исходя только из изучения его скульптуры, утверждают, что он якобы вообще слеп. Да не только слеп, но и осязания лишен. Мы-то, столкнувшись с ним на узкой дорожке, знаем, что его единственный глаз уникален. Он видит сразу во всех измерениях, как глаз стрекозы. Кроме того, его глаз проникает сквозь стены, видит в темноте и как раз то, что от него стараются скрыть. Но именно этот талант делает его весьма приятным. Его зрячий глаз светится неподдельным весельем. Это веселье я встречал и у двуглазых такой породы. Нет-нет, да и столкнешься, то ли в гостях, то ли на улице или на каком-нибудь приеме, с бесконечно веселым взором, обращенным на тебя. Взор, излучающий радость узнава-

ния, снисходительность, — взгляд любви, как бы говорящий: я о тебе все, все знаю... Но этот взгляд одновременно содержит тонкую иронию, так как ты об обладателе ласкового взгляда ничего не знаешь. А он-то о тебе — все. О незабвенный взор стукача!..

А этот — просто глухой, никаких талантов. Глух — и все тут. Ничего не слышит. И даже не прикидывается, что слышит. Бросил, надоело, устал. Устал. Трудно. И карьеру, по-моему, делать не хочет. Тоже устал. Все время все говорят, говорят, особенно на партийных собраниях. А он ничего не слышит. И страшно из-за этого расстроен. Вдруг о нем? И вид у него от этого, как у мужичка из робких, который сам о себе в частушке поет:

Меня на танцы приглашали,
А я чтой-то не пошел,
Пиджачишко на мне рваный,
Да и членик небольшой.

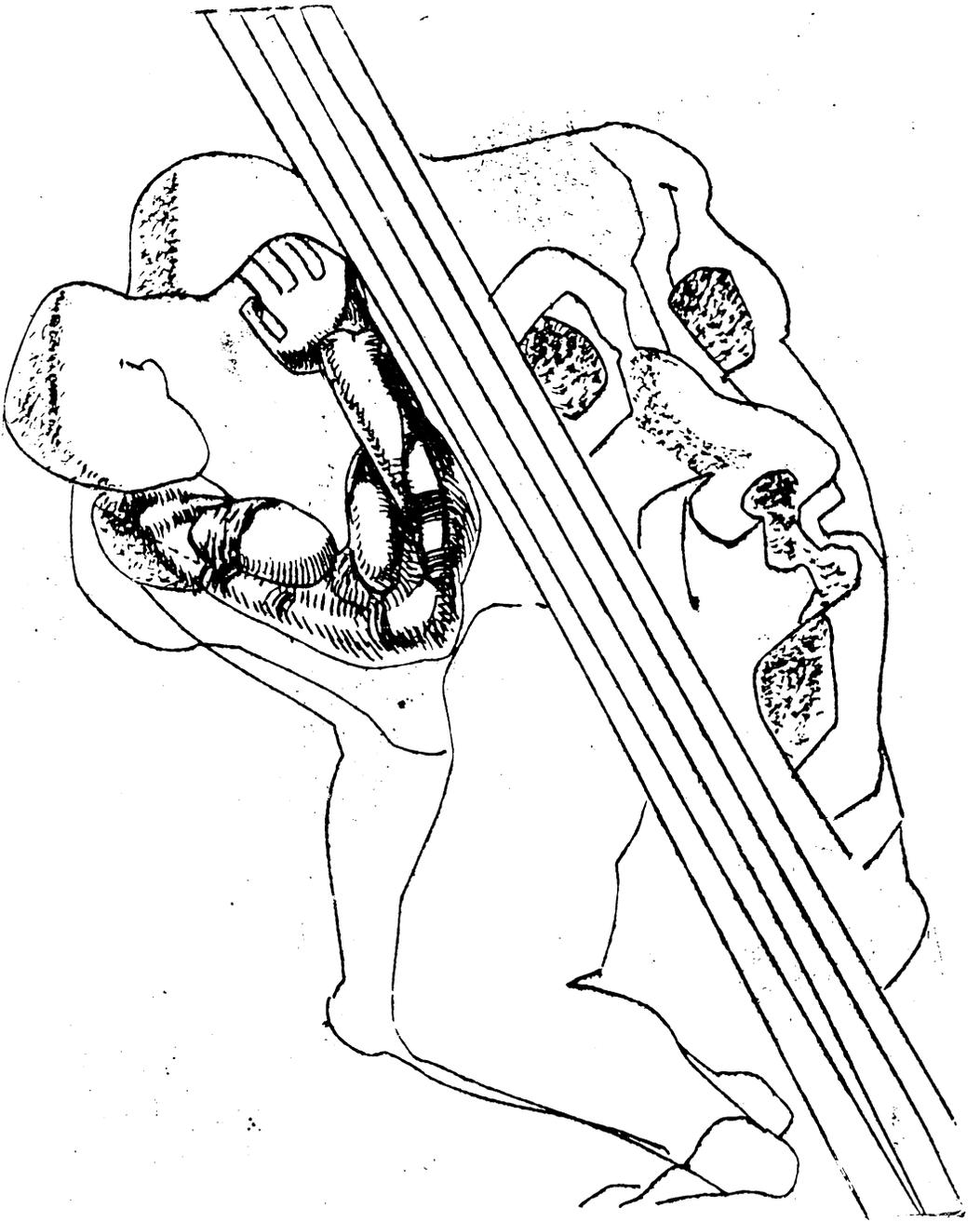
Но наш-то, хоть и помимо своей воли, ходит на партийные танцы и все танцует и танцует, хоть и не слышит музыки. И уже какой год... В чем же дело? Почему его, бедненького, все переизбирают и переизбирают в партбюро? Тайна? Да нет! Когда кого-нибудь прорабатывают или пытаются, он время от времени прикладывает руку к уху и робко просит: «Ничего не слышу... Погромче, пожалуйста... Что?.. Чего?.. Ась?.. Не слышу...» Сами понимаете, человек волнуется. И так трудно. С одной стороны, как рентген, светится глаз, с другой стороны героическая культия жмет; ленинский зародыш угрожающе пищет; спаситель интеллигенции задумчиво вздыхает; трипперный Жорик твоей семьей озабочен; у дрожащего еврея появляется выражение фокстерьера — вот-вот укусит. А тут еще ори, как зарезанный. Ну вот, видимо, за это нашему глухонькому время от времени партбюро заказы подкидывает. Впрочем, какие там заказы? Крошечки, так, с барского стола, чтобы с голоду не помер, бедненький.

Не знаю, понимает ли он, за что его благодетельствуют. Думаю, что нет. Ведь он же совершенно глухой...

Красавец Жора действительно высок, статен и красив, но на лице его широко постоянно видна злоба и смятение. Жора исключительно бездарен и неудачлив. Это-то его и толкнуло в партию в самое развеселое время, во время борьбы стареющего Сталина со своими врачами. Юному Жорике трудно давались изобразительные искусства и науки. Несмотря на внешнюю ладность, у него все валилось из рук. И не только с похмелья. То, что средний студент делал в час, Жора, изнемогая, производил в восемь или десять. Уже в этом Жоре виделся некий подвох и заговор.

В те времена, когда любой признак незаурядности рассматривался с позиций: «Ха, незауряден, уж не космополит ли?», — Жоре был прямой резон вступать в партию. Жора решил не учиться, а учить. Кроме того, Жора, как и Сталин, не любил врачей и подозревал их в кознях. Дело в том, что эти евреи никак не могли вылечить его от запущенного триппера. В данном случае Жора был несправедлив к врачам, так как современной науке известно: триппер возбуждается от водки. А поскольку Жора не просыхал, то и триппер не высыхал. Но и партийный билет не защитил Жору от надоевших ему трипперов и увечий, получаемых по пьянке. Жоре явно и тотально не везло. Как-то с одним евреем он взял на пару проститутку. Жора вообще-то евреев терпеть не мог, но в данном случае выхода не было. У этого еврея были деньги, хотя бы на одну, а у Жоры их никак не могло быть. И надо же, Жора, русак, хозяин страны, от нее заболел триппером, а обрезанный, безродный — нет. Это окончательно добило Жору. Еще больше укрепило в ненависти к космополитам и навсегда бесспоротно сблизило с вождем всех времен и народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Через много-много лет после смерти любимого вождя постоянный член партбюро МОСХа Жора, заняв нужную сумму у одного беспартийного большевика, взял проститутку. Утром он начал выгонять ее, не заплатив денег, даже побил. За то, что, как он утверждал, она недостаточно обеспечила ему прилив крови к главной из конечностей.



Отчаянная и озверевшая от побоев баба, пользуясь тем, что он был изрядно пьян, вытащила у него партбилет и сдала в милицию, где все рассказала, аргументируя тем, что пусть ее накажут, как б..., но таких грязных б... она в своей практике еще не встречала. Ее просто выгнали. Видимо, работники милиции были связаны с милым Жорой. Он был членом группы содействия милиции и, естественно, их собутыльником. Так или иначе, милиция не составила протокола и не дала знать вышестоящим инстанциям, а передала документы и обстоятельства в партийную организацию МОСХа, членом которой являлся неудачливый партийный Дон Жуан. Историю — по каким-то внутренним партийным соображениям и, вероятно, по идее глобальной безопасности, а также сохранения и упрочения мира во всем мире — замяли. Жора отделался легким испугом. Но именно с этого момента фортуна повернулась к нему лицом, и он начал делать активную карьеру. Его бурсацкая лихость импонировала менее прытким партсотоварищам. Его профессией при рассмотрении характеристик для поездки за границу стала нравственность. Он стал почти непререкаемым авторитетом в этой тонкой области. Весь беспартийный МОСХ недоумевал: что это — наглость, вызов? Возможно. Не пугайте нас, мы сами кого хошь напугаем. Им плюнь в глаза — все Божья роса. Может быть, поэтому Жора и запроцветал. Я помню, что именно он пытал всех подозреваемых в безнравственности. Именно ему поручали читать лекции о коммунистической морали. Именно он страшно бдительно следил и выпытывал о семейных взаимоотношениях, о любовных связях претендентов на заграничную поездку. Именно он, обычно полупьяный, с распахнутой ширинкой, с немытой шеей поучал прелестных молодых художников: учыца, учыца, учыца, как сказал Ленин.

Видимо, ему действительно открылась большая карьера. Если все сложится, как надо, он со временем будет направлен в Америку, учить несколько подраспустившихся детей пуритан нравственности. Абсурд? Нет, эта запрограммированная циническая рациональность несет в себе практический элемент; в обществе, формально проповедующем коммунистическую мораль, не удивительно, если сухой коммунист, аскет поучает тебя нравственности. Пусть он ограничен, пусть он несимпатичен, но он не сможет внушить такого ужаса, как пьяный, разнузданный подонок, безнаказанно измывающийся.

Внешне все может выглядеть случайностью. Но не зря начальство попустительствует Жоре, создавая обморочную атмосферу полной безнадежности, и этим по-настоящему пугает и повергает в ужас. Больше, чем самыми грозными приказами о послушании. Потому что с таким бесцветным, но беспредельным, все разъедающим цинизмом бороться нельзя.

Что за планита такая? Ну, пусть бы тиранил тиран, властвовал властитель, тонуть — так в крови, но не в моче. Нестерпимо стыдно. Хромой, глухой, слепой, дрожащий, трипперный коллектив — Крошка Цахес — мой хозяин. Противно и просто. Просто? А все-таки что там, за дверьми парткомнаты, булькает, булькает, булькает?

ХЕПС

Иногда мои друзья, находившиеся на различных уровнях партийно-государственной иерархической лестницы, пытались мне помочь. Но никогда у них ничего не получалось. Временные успехи только подчеркивали общее безобразие моей ситуации. Существовала физиологическая несовместимость между мной и окружающей меня действительностью, и она была непреодолима. Как бы ни пытались меня иногда заглотнуть в официальное искусство — а такие попытки были, — с отвращением отрыгивали. Я не переваривался в этом желудке.

Бывало, я сам, подначитавшись Макиавелли и призывая на помощь исторические аналогии — история же искусств красочно повествует о сго-

ворчивости разного рода талантов с вельможными ничтожествами всех времен и народов, — пытался изменить себе и шел на сближение, понимая, что скульптор — не поэт, не свободный философ и, увы, зависит от государства. Будучи монументалистом, я не хотел всю жизнь просидеть в подвале, не хотел быть генералом без армии. Соображения побеждали отвращение — я сам тащил себя за шиворот. Но при личной встрече с современными Медичами забывались практические аргументы. Кто-то, кто был сильнее меня, превращал претендента на роль государственного скульптора, советского Скопоса, в разнузданного анархиста. Как будто внутри моего взрослого тела, одетого во взрослый, подчеркнуто респектабельный на такие случаи пиджак (пиджак имени ЦК — прозвали его мои друзья), находился некто, некое существо, скорее всего мальчишка, который не хотел, не хотел, просто не хотел быть ни у кого на поводку. А почему? Да гипотеза. Просто так — я такой! Пусть нехороший, но это я.

Как-то раз мои друзья-аппаратчики пришли к выводу, что меня нужно познакомить с человеком, который у Косыгина ворочает культурой. Мы долго готовились. Меня учили, как с ним разговаривать, мне объясняли, что он не очень далек, но зато склонен меценатствовать. Мне говорили, что я должен говорить и чего говорить не должен. В общем, был большой тренаж. Он же приезжал тихонечко и таинственно. Потому что не очень-то гоже ему в ресторане встречаться с неофициальным художником, да еще с таким. В то же время он, видимо, умирал от любопытства, так как обо мне в этой среде ходила масса взаимоисключающих слухов и легенд.

Итак, в ресторане «Арбат» мы сняли в кабинете столик. Я тогда уже имел много денег. Поэтому стол ломился от яств: балыков, черной икры, от разных вин, коньяков, от всего, что только можно было купить. Первая половина вечера началась превосходно. Я ему рассказывал о своем патриотизме, о войне, о том, как был добровольцем в армии. Я говорил, что хочу служить родине, хоть моя форма в искусстве и отличается от общепринятой. Он знал, что Косыгин, его шеф, подарил мою работу Кекконену и, значит, в какой-то степени понимал мою проблему. Друзья упивались моими успехами и гордились мной. Они переглядывались и посматривали на этого человека, кличка которого была «Хепс», словно говоря ему: «Ты видишь, видишь, он же свой, свой! Он наш! Мы же тебе говорили...» И я изо всех сил старался быть своим.

Желание служить, желание приобщиться делает нас снисходительными. Я старался найти в нем симпатичные черты. И находил. Доброе лицо, несколько близорукие глаза, смешные десять — пятнадцать волосков, торчащие клоком на лысине. Нормальный человек. Чего же еще надо нам, чтобы терпеть начальство? Мало надо. В тайниках души мы так презираем власть, что если ее представитель не сразу укусит, пырнет или хрюкнет — уже хорошо. Ведь и Косыгина уважают за то, что он нормально, то есть средне-грамотно, говорит. Единственный из всех руководителей своего поколения. Но, Боже мой, мой сосед — жалкий инженеришко — говорит лучше и литературнее Косыгина. А его-то никто не уважает за это. И ясно, почему. Он не власть. Итак, я пытался заужавать человека из аппарата нормально говорящего Косыгина. Я не только устно и мимически демонстрировал ему, что я свой, — я пытался слушать его, что, правду говоря, было трудно.

Он обладал вязкостью сознания, все время спотыкался на несущественных деталях, увязал в них. Внешний, предметный мир уводил его от сюжета рассказа. Он помнил, что, где, когда съел на протяжении многих лет, кто в чем был одет, кто кому что подарил, сколько что стоило и так далее и тому подобное. Если же ему казалось, что он что-то спутал, как то: у французского посла лет этак двадцать пять тому назад он ел говядину или телятину?.. — он прерывал рассказ, накрывал голову ленинским жестом руки и долго и упорно думал. На это время мы все затихали, чтобы не мешать титанической работе его мозга. Наконец он радостно вспоминал: «Да, это была говядина!» Но сюжету мешало еще то, что он никак не мог вспомнить, из какой части Франции добыт этот скот. И снова ленинский жест, лысый лоб покрывается испариной, и почти слышно, как в мозгу шелестит картотека. В чем-чем, но в стремлении к точности деталей ему отказать было нельзя.

А вот выжимки из его беседы:

— Моя жена, — (Сообщаются все анкетные данные: происхождение, возраст, не судима, образование; конечно, включая рост, цвет волос, глаз и другие физические признаки), — не верила, что я сделаю карьеру. — (Из анкетной части рассказа видно, что она из более интеллигентной семьи, чем Хепс.) — И несколько презирала мою рабочую косточку. Но как приятно иногда доказать. Вдруг звонок... — (Сообщается, как ему вне очереди поставили телефон. Как в таких случаях ставятся телефоны вообще. Какой формы и цвета у него телефон. И чем его телефон лучше других.) — Тебя вызывают... — К кому бы вы думали? К Молотову! — (Тут никаких комментариев. Только сияние чела Хепса и вставшие по стойке смирно десять волосков на заблестевшей от восторга лысине. Долгая пауза.) — К самому Молотову! А жена — я замечаю — недоуменно смотрит из-за занавески... — (Сведения об этой занавеске и занавесках вообще.) — Черная машина рычит у подъезда. — (Естественно, все о машинах и табель о рангах: то есть кому, в каких случаях и какая положена.) — И по белой линии, без знаков движения: у-у-у... Знай наших! — (Действительно, какой русский не любит быстрой езды...)

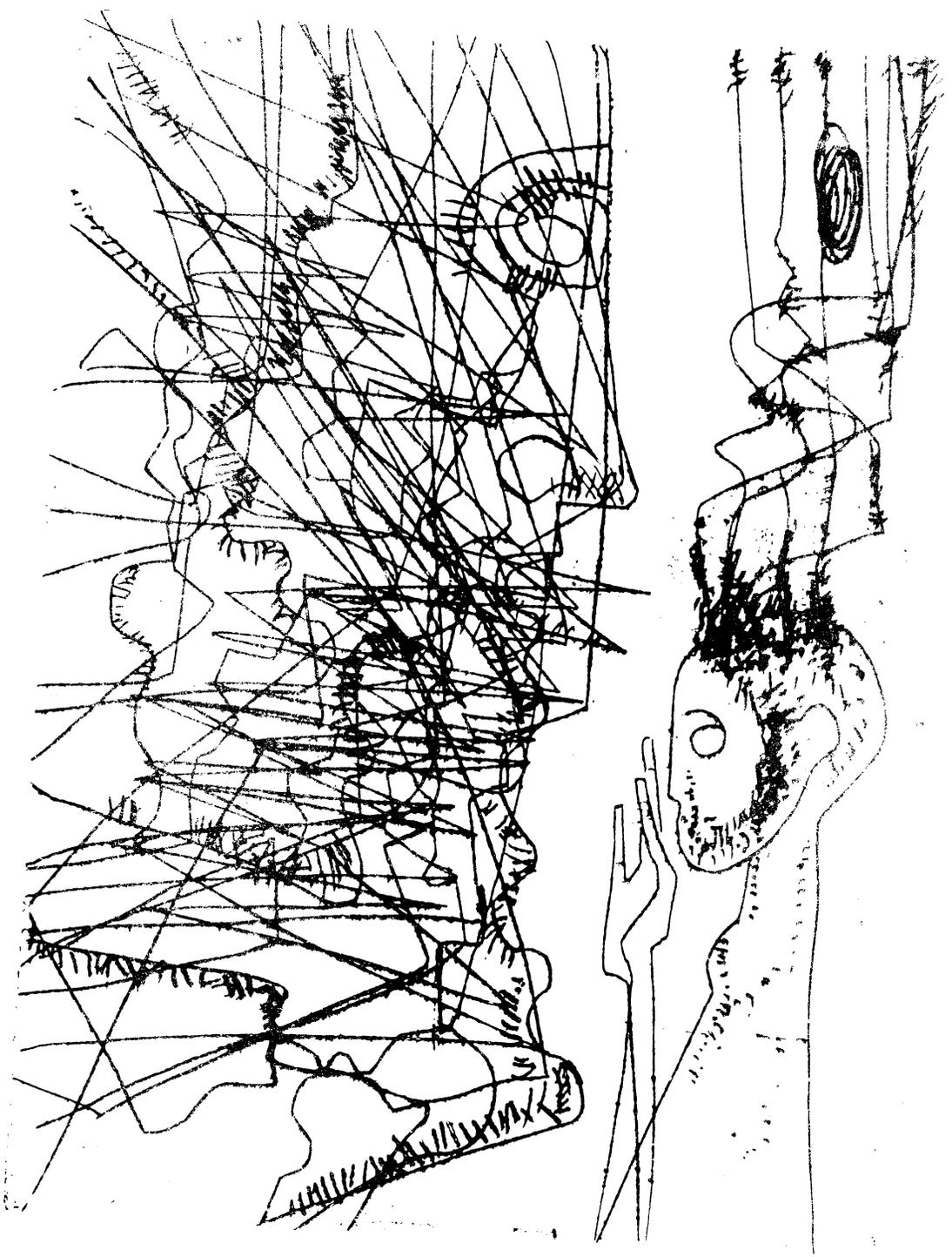
Но торопился он зря, так как его просили подождать и, если он не успел позавтракать (а он не успел), откушать в столовой Совмина. (Подробнейшей и необычайно квалифицированное изложение: как и что он в этой святейшей из святых кормушек кушал.)

— И вдруг репродуктор: «Такого-то к Вячеславу Михайловичу, к Молотову!» Я хватаю папочку, — (Отступление о папочках, о тесемочках, застегивающихся, цвете и размере; важности папочек вообще, а его в особенности), — все на меня смотрят: кто таков? К Молотову?! К самому Молотову! Приятно. У-у-у, как приятно! Видела бы жена! Вводят в кабинет. — (Длиннющее описание всех предметов, находящихся в кабинете.) — Товарищ Молотов в сером костюме и в таком оранжевом галстуке. Нет, нет, простите, он был в сером костюме и в коричневом галстуке. В оранжеватом он был в другой раз. Я потом расскажу о том, что было, когда он был в оранжеватом галстуке... Я прошу у него прощения: извините, товарищ Молотов! Я кушал...

(Тут нужно объяснить. Хепс не сидел в приемной, а сидел в столовой. И поэтому был вызван по радио, и это его смущало: не рассердился ли Молотов.)

— А Вячеслав Михайлович, как сейчас помню, мне говорит: «Кушать у нас в Совете Министров, а также в ЦК не возбраняется». Понимаете, мне, мне, прямо так простецки говорит: «Кушать не возбраняется!» — И в интонации Хепса прозвучало что-то надмирное. На мгновение, как мне показалось, чело его озарилось ореолом. Расплывчатое, добродушное лицо приобрело значительное выражение, все превратившись в свинной пятак, из дырок которого, как из священных репродукторов, неслись слова новой религии: кушать, кушать, ку... И я вдруг увидел горы и небеса, моря и луга, на которых гигантскими буквами начертано: КУШАТЬ НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ! Хепс же, опустившись на землю, широким жестом пригласил меня разделить его восторг. Закис от радостного смеха и, подавившись черной икрой, запил армянским коньяком, но никак не мог успокоиться, все время хихикая и повторяя многозначительно: «Вот так-то, Эрнст. Кушать не возбраняется! Понял, Эрнст, не возбраняется!» И поднимал беленький пальчик, чтобы подчеркнуть важность и ритуальный смысл: КУШАТЬ, КУШАТЬ, КУШАТЬ! А поскольку не возбраняется, он и кушал. Пил и кушал. Кушал и пил. И рассказывал, и рассказывал. А так как мы слушали, он был убежден, что мы упиваемся содержательностью его рассказов и радуемся вместе с ним всем разудальным радостям чиновничьего бытия-жития. И кушанию. И, конечно, он говорил о семье, и, конечно, как все они, когда подопьют:

— Для меня семья — все. Но с вами, и между нами, ах, художники, эх, натурщицы, эх, цыганочки... тра-тра-тру-ля-ля... Мастерскую тебе отгрохают, построю хорошую. Мастерскую за государственный счет. Построил же я Кобелю. Мы здесь все свои... Но тебе, но тебе поэтому скажу без балды. Тебе — другую. У нас же ты не такой официальный. Тебе мастерскую с интимными уголками. Как говорят французы, гран мэрси. А один



уголок мастерской — и для меня. Знаешь, почему я люблю большую м...? Между нами... В ней можно найти свой интимный уголочек. Хи-хи-хи...

Все бы ничего. И не такого я за свою жизнь наслушался. Но он как-то незаметно перешел на «ты». В его интонациях появилось нечто дружески поощрительное, но с начальственным оттенком. Вообще-то в неофициальном протоколе, если начальство переходит с подчиненным на «ты», то есть начальство говорит подчиненному «ты», подчиненный же начальству «вы» — до особого разрешения, — это уже поощрение со стороны начальства. Это уже выделение тебя из стада, это уже некое приобщение. Я никогда не терпел такого рода панибратства. Оно действовало всегда на меня, как красная тряпка на быка. Может быть, не тыкай мне Хепс, я бы стерпел его занудность и безобразие. Но тут уже было выше моих сил. И меня понесло:

— Вы что мне тыкаете. Я с вами свиней не пас...

Много я ему сообщил. И что у моего деда дворник был культурнее начальничка косыгинской культуры, и что я таких сявок, как он, у параша на четыре кости ставил. Много, ох, много было высказано ему на сочном и отборном слэнге. Почему в напряженные моменты при общении с хулиганами, бандитами, милиционерами, функционерами, я переходил на уголовный язык? Выросший в весьма интеллигентной семье, я, естественно, грамотно и, как многие считают, культурно говорю на литературном русском. Но жизнь взрастила меня не только в литературных интеллектуальных салонах. И я скоро понял, что на строительной площадке, в армии, в милиции или даже у начальства в определенных обстоятельствах слэнг звучит как язык силы. А интеллигентный русский — как признак слабости. И при встречах с Хрущевым, возможно, умение нахамить Шелпину на слэнге частично защитило меня. Литературный русский сегодня — это иностранный язык. Нормальный же язык — это смесь заблатненного языка с канцелярскими клише. — Итак, выпоров «феней» ни в чем не повинного Хепса, я бросил официантам пачку денег и ушел, в основном недовольный собой, проклиная и кляня себя за подхалимаж, хамство и несдержанность.

Но эта история кончилась совершенно неожиданно. Естественно, мои друзья очень обиделись на меня. Один из них мне позвонил на следующий день:

— Эрнст, ты не был настолько пьян, чтобы тебя простить. А если даже ты был и пьян, это все равно непростительно. Мы сделали для тебя большое дело. Если тебе на него плевать, не надо было встречаться. А если ты встретился, то хотя бы не о себе, ты должен был подумать о нас, нам с ним работать.

Я сказал:

— Ребята, я приношу извинения. Больше никогда ничего подобного для меня не делайте. Потому что я понял себя. Я могу поддерживать взаимоотношения с человеком, который мне даже если и полезен, то одновременно должен быть и приятен. Тогда хоть что-то получится. Если же он только полезен и отвратителен, у меня ничегошеньки не выйдет.

— Ну, это твое дело. Мы тебя простить не можем, потому что ты себя повел не по-мужски.

Они были правы, и я очень, очень переживал.

Неожиданно, примерно через неделю, мне снова позвонил мой друг:

— Эрнст, я не разделяю веру в твой гений. Но, во всяком случае, гений интуиции у тебя есть, это точно.

— В чем дело?

— Хепс от тебя без ума. Каким-то образом он съел твое хамство. Он хочет, чтобы ты перед ним извинился, и хочет снова встретиться. Поверь, Эрнст, это делает ему честь, и не задирайся снова.

— Ребята, только я очень не хочу... Я не могу с ним поддерживать отношения.

— Ради нас.

— Ну, только ради вас.

Я позвонил Хепсу:

— Я приношу вам извинения. Я был патологически пьян. Я инвадид Отечественной войны. На меня водка действует ужасно. Приношу

вам извинения. Я очень часто в таком состоянии разговариваю с людьми неправильно...

Он очень сухо ответил:

— Ну, хорошо, хорошо, я это понимаю. Но я хотел бы с вами увидеться.

— Зачем?

— Когда мы увидимся, я объясню вам, зачем.

Дело в том, что ребята попросили меня подарить ему какой-нибудь рисунок или какую-нибудь гравюру, чтобы сгладить инцидент. Испытывая горячее чувство вины, я на это пошел. Мы с ним встретились у ворот Кремля, где он работал, в его обеденный перерыв.

— Вот вам рисунок. Здесь я вам сделал дарственную надпись.

Он смягчился и пожелал меня пригласить домой, что было уже, с точки зрения протокола, высшей честью. А если учесть, что он встретился со мной, пожертвовав обедом, то надо считать, что он меня больше чем простил. И вот у него дома я снова хлебнул горяшка. Но, слава Богу, это была последняя наша встреча. И с гордостью могу сказать, что в этот раз я был сдержаннее, никого не оскорбил и ничего не сломал. Описывать его дом, забитый роскошью, нет сил. Кроме мебели всех сортов и стилей, всюду тяжеленные бронзовые скульптуры, совершенно не для домашнего пользования: огромнейшие марксы и энгельсы, стыдливо носом в угол повернут бюст Сталина в маршальской форме. Различные герои, сеющие разумное, доброе, вечное, кующие что-то железное, не то мечи на орала, не то орала на мечи, знакомые мне натурщики и натурщицы в балетных позах, устремленные в космос — к мирам иным, — чтобы доказать, что и там нет Бога. Ясно, что это взятки-подарки от опекаемых им скульпторов. А вот и парадный гипсовый бюст самого хозяина.

— Пока еще не переведен в вечный материал, — сообщил мне таинственно Хепс, указывая на монумент, расположенный на хрупкой чайной горке, набитой бездарнейшим немецким трофейным фарфором времен Гитлера: томные купальщицы, кокетливые национал-социалистические младенцы-супермены, порочная Гретхен, танцующие крестьяне и крестьянки, собачки, кошечки в бантиках и просто розочки и бантики из фарфора. И над всем этим героический бюст Хепса, взглядом устремленный в светлое коммунистическое будущее, где будет что кушать. Он во всех орденах, а их у него, оказывается, немало, и даже десять волосков есть, но только они не торчат, а заботливо выложены скульптором на римской плещи Хепса. И каждый любовно выделен, отполирован и значителен сам по себе. А над его челом по стенам расположены головы различных животных: с рогами и без рогов, с клыками и без клыков. Возможно, трофей его лихой охоты, возможно, подарки. Но ясно, что это тотемы, символы того, что вышеперечисленные животные действительно были убиты и съеданы. Между мордами с укоризной смотрящих на плещ Хепса зверей расположены дары всех стран и народов, покоренных Хепсом: вымпелы, кокосовые орехи с революционными надписями, сделанные золотом, пейзажи далекой Индонезии, написанные лаком, цветные полотенца, грузинская чеканка, изображающая «Витязя в тигровой шкуре», болгарские сценки из социалистического быта деревни, набранные в драгоценных сортах дерева. Естественно, гербы, серпы, молоты, звезды, Эйфелева башня, пальмы, значки олимпиад и конгрессов, арабские мечети и верблюды, бочоночки и открывалки для бутылок и, конечно, ленины, ленины — всех национальностей и рас; ленины всех континентов и широт; ленины черные и желтые, красные и белые, раскосые и большеглазые, курносые, прямоносые и горбоносые; ленины скаластые и удлинненные; ленины с большими лбами и маленькими; ленины, выполненные во всех материалах, которые породила земля и химия: ленины из бронзы и ракушек, ленины из нержавеющей стали и пенопласта, ленины из пивных пробок и слоновой кости, ленины из различных пород дерева и из смолы. И среди всего этогохлама, как окошко в другой мир, цветы, прекрасные цветы, вышитые его женой. А под этим великолепием паркетный пол, натертый его женой. Каждая паркетина занятно блестит. Потому что его жена, по приказу Хепса, одну паркетину трет справа налево, а другую слева направо, о чем с гордостью нам сообщил Хепс. В отличие от большинства советских чиновников, которые в основном под башмаком жен, Хепс властвует.

И, возможно, мстит за ее интеллигентное прошлое и недоверие к его способностям. Так или иначе, она только раз выглянула из-за занавески, знакомой нам уже по предыдущим рассказам, чтобы дать нам выпить.

Когда я был в капелле Медичи, я понял многое. Я понял, почему гении Возрождения так преклонялись перед Медичи. В атмосфере искусства, которую он создал, мог жить только Медичи. Потребность концентрировать различные шедевры с такой силой мог именно только гений. Гений Медичи своей любовью к искусству и потребностью в нем стал равным его создавшим. Да, Медичи равен Микеланджело, Рафаэлю и другим. То же и Хепс. Он абсолютно адекватен художникам, набившим его капеллу своим хламом. Если бы я мог привезти его квартиру сюда в Америку, крупнейшие галереи дрались бы, чтобы экспонировать ее. Это самый китч из китчей в мире. Уважаемое товарищ правительство, умоляю сохранить эту квартиру как музей. Ах, да, я не указал адреса. Ну, пошуйте, таких квартир не одна. Но делать вам это надо скорее, так как волна либерализма и глетворное влияние Запад скоро размочит такие квартиры-заповедники. Прошу прощения за отступление... Видимо, воспоминание о Хепсе заразило меня тоже вязкостью мысли.

Итак, жена дала нам выпить. Довольно жалкой водочки и закуски. Обидно нам было хлебать эту теплую водочку, так как в квартире стояло несколько стеклянных шкафов, набитых различными коньяками. Боже мой, я и не подозревал, что в мире так много различных сортов коньяка. И как вкусно выглядит! Но на шкафах были суровые надписи: что пить это нельзя, так как сие — коллекция. И мы пили водку, как говорят, вприглядку, жадно поглядывая на недоступную роскошь.

— Таких коллекционеров убивать мало, — шепнул на ухо мой партийный друг.

— Вот ты и созрел и понял меня, — ехидно шепнул я ему в ответ.

Хепс немножко подвыпил водки и снова начал нудить. Но в этот раз он не хамил и еще больше раскрылся. И нам стала ясна причина его желания общаться со мной. Оказывается, в один период своей карьеры он был помощником Ворошилова.

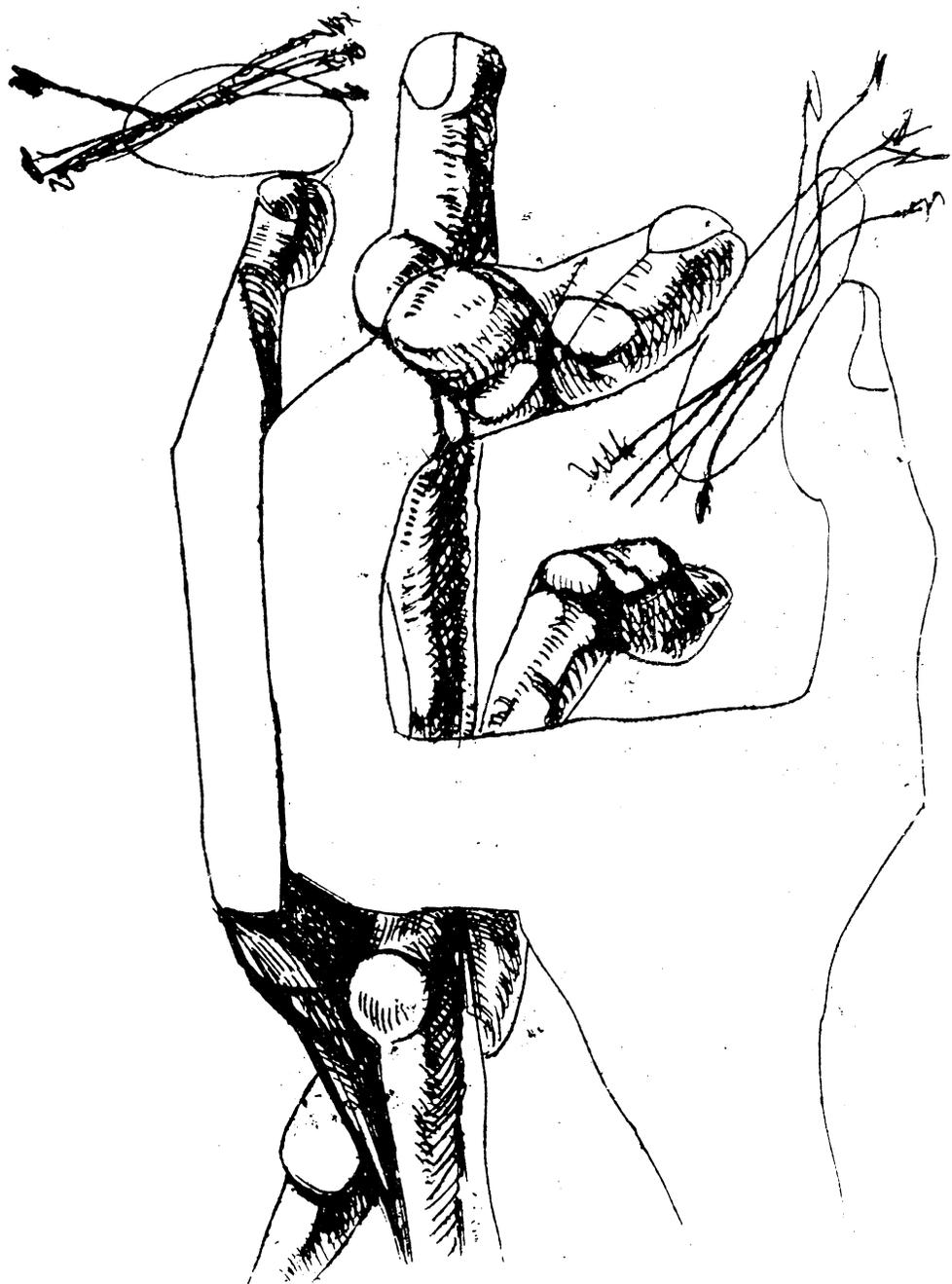
— Эх, Эрнст, Эрнст, вы человек крупного помолла. Такие сейчас перевелись. Вы мне очень напоминаете Ворошилова. Он тоже был вспыльчив, но отходчив...

Видимо, он решил, что мое хамство есть право. И раз я такой хам по отношению к нему, то я и есть природное начальство. Кроме того, он, похоже, заподозревал, что я имею естественное право на это хамство еще и потому, что у меня есть какая-то рука повыше его. У него была рабья натура. Он остался рабом. И, работая у сухого Косыгина, который не склонен топтать никого ногами, он, наверное, скучал о мате Ворошилова и о прежних счастливых временах. И во мне он увидел хозяина, свою молодость. Самое интересное, что в связи с этим Хепсом я вспомнил другую историю. Я вспомнил его более молодым, но не менее противным.

МЕРКУРОВ

Приехав в Москву поступать в институт, не имея ни жилья, ни денег, я обратился к Меркурову, одному из трех ведущих в то время скульпторов страны, с просьбой взять меня на работу. Меркуров во время войны был в эвакуации в городе, где я родился, — в Свердловске. Там он близко познакомился с моей мамой, которая тогда была оргсекретарем Союза писателей Урала. И вот теперь, хоть я еще не был скульптором, он, видимо, из-за знакомства с мамой, взял меня на роль «мальчика за все»... То есть я должен бы делать все, что прикажут: от подметания полов и беганья за водкой до помощи в лепке и в рубке камня.

Огромный, бородатый, красивый и громкий Меркуров сразу понравился мне. Его театральная импозантность, его шикарность, размах и красочность жеста импонировали моему романтическому сознанию. Возможно, родился я во времена Шаляпина, во времена купеческих загулов



моего деда, мне бы все это показалось мишурой. Но на фоне серых будней, серой, как солдатская шинель, действительности он был яркой фигурой. Жил он барином. За стол садились иной раз до шестидесяти человек. Скульптор он был бесспорно талантливый. Его дореволюционные работы явно говорят об этом. Его гранитный Достоевский, Толстой, да и Тимирязев, вырубленные в молодости, конечно, выше всего того, что он потом делал при советской власти. Он был бесконечно циничен и даже как бы гордился этим. Я подозреваю, что в тайниках души он был трагичен и сломлен. Внутренне он уже был выдрессирован советской властью, но внешне — прекрасен, как свободное животное на фоне всеобщей запуганности.

Поражала воображение скульптура голого Ленина. Модель фигуры, которая должна была венчать Дворец Советов, спроектированный архитектором Иофаном (кстати сказать, единственным моим родственником, сумевшим завоевать любовь тов. Сталина). Голый Ленин?! Но Иофан в том, что Ленин остался даже без кальсон, нисколько не виноват. Меркуров, как серьезный профессионал, штудировал ленинскую плоть и вживался в анатомический образ Геня. Ильича пришлось в конце концов приодеть в портки и пиджак.

Но совсем становилось жутковато, когда Сергей Дмитриевич торжественно сообщал, что в голове тов. Ленина будет кабинет тов. Сталина. И что, когда этот монумент увенчает Дворец Советов, тов. Сталин, комфортабельно расположившийся в плечи тов. Ленина, воспарит над облаками.

Пошучивал он и такие шутки. Когда к нему приезжало все Политбюро, он театрально говорил:

— Ну, друзья-господа, вот там, — широкий жест с показом за ворота, — кончается советская власть. А здесь начинается Запорожская Сечь...

(Сечь. Где огромная армия каменщиков высекала бесконечные серии фигур Сталина. Своеобразный комбинат, мануфактура. Сталинская Сечь.)

Господа только улыбались. А господа-то всего только Берия, Маленков, Каганович, Ворошилов. Но ему было можно. Он был в те времена любим Сталиным. Но и он все-таки заигрался. На 70-летие Сталина он преподнес ему в подарок гранитную скульптуру, изображающую группу скорбных людей, несущих на плечах тело Ленина, под названием «Похороны вождя». И имел бестактность в дарственном письме указать ее стоимость. Ответ Сталина был краток: «Такой дорогой подарок принять не могу!» С этого начался его закат.

Но в то время Меркуров был на коне и ревелся. И его двор для него, не для нас, конечно, был вольницей и Запорожской Сечью.

Я вместе с рабочими рублю камень во дворе. Вдруг женский вопль. Из дома выскакивает в полуразодранном платье известнейшая балерина страны. Женщина-кумир. Женщина-монумент. А за ней, лауреаткой Сталинских премий, народной артисткой СССР, обладательницей огромной коллекции многих званий и орденов, несется тоже лауреат Сталинских премий, народный художник СССР, член президиума Академии художеств СССР, обладатель огромной коллекции многих званий и орденов товарищ Меркуров Сергей Дмитриевич. Голый, огромный, волосатый, гориллообразный, с дымящимся от возбуждения членом. А за ним его жена с чем-то тяжелым в руках. Как в ускоренном кинофильме, они пролетают мимо привыкшей к подобным сценам бригады каменщиков. Мы все целомудренно опускаем очи долу. Группа исчезает, и только слышен истошный крик члена президиума Академии художеств СССР:

— В моем доме, да и всласть пое...ся не дадут!..

Но это так, пустячок, милая семейная сценка. Что они делали с Алексеем Толстым, закрывшись с бабами в деревенской баньке, нам неизвестно, но по количеству сожранного и выпитого можно было судить о гигантской и энергичной работе, проделанной там. Он любил вспоминать, что он грек. Возможно. Другие говорили, что он армянин. А сам-то он враль был отменный. Так или иначе, темперамент у него был. И в этом плане ни греков, ни армян он не подвел и не опозорил. Кроме того, обе эти нации отлучаются, как принято думать в Одессе, торговой сметкой. Отлучался ею и Меркуров. В Свердловске мне рассказывали, что, эвакуировавшись на Урал во время войны, Меркуров снял — конечно, за счет государства —

для своего коллектива гостиницу «Большой Урал». Но, поскольку номеров было гораздо больше, чем нужно, лишние он сдавал различным приезжим, а деньги клал себе в карман, по существу, на время превратив государственную гостиницу в свою собственность. Таких купеческих проделок числилось за Меркуровым много. Но он не был скуп, и мы, работавшие у него, это знали. Он хорошо понимал характер русского мастерового и поэтому действовал в традиционной русско-купеческой манере. Об этой традиции я много слышал от своего деда — богатого уральского купца. За самую малую провинность мог выпороть. А то вдруг, увидев, что рабочий приуныл, спросит:

— Что морда кислая?

— Да корова у меня подохла, Сергей Дмитриевич.

Все понятно, корова — главная кормилица в пригородном хозяйстве каменщика, у которого детей и внуков целая рота.

Отчитав за кислую рожу матом и обозвав всех дармоедами, на следующее утро Сергей Дмитриевич дарит мужику корову. А корова по тем временам стоила целое состояние. Драл он с государства и с рабочих три шкуры, но все и тратил. А когда помер — оказалось, что действительно ничего не скопил и, кроме долгов и заказов, ничего не оставил. Кстати, он организовал такой скульптурный комбинат и имел такого талантливого менеджера, что и после его смерти коллектив, созданный им, продолжал выпускать продукцию от его имени без него. Да, впрочем, и при жизни многое уже делалось без него.

В один прекрасный день Сергей Дмитриевич сказал, что он уезжает отдохнуть на юг и что к такому-то числу должен быть готов портрет Кутузова, по-моему, две с половиной натуре или три. Он дал своим помощникам в качестве модели абсолютно невразумительную лепешечку, в которой было еле видно, что это голова человека и какие-то погоны. Зачем эта модель была сделана — непонятно. Лучше бы кукиш показал в виде модели.

— Ну, вы знаете, как и что делать, ребята. Задание не хитрое, но кровь из носу, чтобы было готово и блестяще, как яйца у кота, к такому-то числу... — потом наклонился и заговорщически сказал: — Клим придет принимать. Так что для Климса сделайте. Как говорят советские мастеровые-скульптора, в нашем деле брака не бывает. Сказано — сделано.

В день сдачи заказа стоял на подставке готовый и новенький, как сапог, бюст: гладок, одноглаз, в орденах, в эполетах — все в порядке. Социалистический фельдмаршал Кутузов готов был к сдаче социалистическому маршалу Ворошилову. А вот и шеф. Прямо с самолета. Веселый, загорелый, пыща здоровьем и дыша вином и барашком, даже и не взглянул почти на результаты собственных творческих усилий. Махнул большой рукой, дескать, знаю, сойдет, и побежал на кухню, потому что надо было принимать большого гостя. «Путь к сердцу солдата лежит через желудок», — кажется, сказал Наполеон. А Ворошилов хоть и маршал, но в смысле сердца и желудка остался, естественно, солдатом. И забегали холуи — как их называет советская знать, обслуга. Закрутилось все. А из кухни доносились фантастически вкусные запахи. И зычный голос хозяйина:

— Да сациви, в сациви орешков да чесночку побольше... Где «Хванчкара»?.. Это что? Персик? Яйца это твои, мудака, а не персик! Настоящий персик с кулак должен быть...

Наконец затихло все. Только от возбуждения подвывают многочисленные дворовые собаки, сбжавшиеся на упоительный запах кухни. (Были и мы — в стране царил голод.) Приближалось время, когда должен был приехать величайший партийный меценат.

Вышел раскрасневшийся от жара кухни Меркуров. Я в это время подметал пол в мастерской и стоял со шлангом. Дело в том, что в моих обязанностях было следующее: при появлении высокопоставленных гостей у дверей должен был стоять форматор Дюбанин, который впоследствии работал и у меня форматором. Как только появлялся гость, он махал мне рукой, и я обрызгивал скульптуру водой. Это всегда входило в мои обязанности, потому что Меркуров точно знал вкус советского начальства: то, что не блестяще, не блестяще. Меркуров посмотрел на меня, а он ко мне хорошо относился и доверял:

— Слушай, тебе надо быть скульптором. Ты же все-таки не всю

жизнь будешь здесь подметалой. А ведь самое важное в нашей ситуации — не как лепить, а как сдавать... Так вот, польешь и брысь за занавеску... Оттуда будешь выглядывать. Я кое-что тебе покажу...

Так и поступили мы с Дюбаниным. Дюбанин, стоявший у дверей, махнул рукой, я быстро брызгал водой бюст Кутузова, бросил шланг, закрыл кран, и мы спрятались за занавеску. Едва мы успели задернуть ее, выглядывая из-за щели, как увидели, что появился кривоногий меценат, поразивший меня невзрачностью своего вида. Человек-Легенда, о котором слались песни, Человек-Монумент оказался небольшого роста, довольно спортивным, с лицом пуговкой и чаплинскими усиками, человечком. Так что мой Хепс, который плелся за ним в качестве помощника, вполне был на месте. Да и вкусы у них, как я потом выяснил, были абсолютно одинаковые. Что у героя-монумента Ворошилова, то и у чиновника Хепса. Итак, вошли эти люди. А за ними следовали еще, но было видно, что это не люди, а так, охрана. Из другой двери синхронно вышел громадный барственный Меркуров. Но что это? Вся голова его от макушки до шеи забинтована. Трагический вид. Только из-под повязки торчит веселый пиратский глаз, нос и клочок бороды. Тут уж не до Кутузова. Ворошилов и не смотрит на него. Эх, зря я поливал...

— Сергей Дмитриевич, да что с вами?..

— Ох-хо-хо, — отвечает болезненный Сергей Дмитриевич. — Вот, Климент Ефремович, некоторые непонимающие говорят, что нам, скульпторам, много платят. А нам надо бы еще и на молочко подбросить за вредность производства. Знаете, сколько нервов да сил тратишь?! Вот я лепил этого Кутузова, а он — одноглазый... А то, что он одноглазый, создает определенную мимику, определенное выражение лица. Надо было вжиться в образ. Вот я и щурился. Я морщился. Представлял себя одноглазым. Ночами вскакиваю — не спится... А тут еще сверхзадача, как говорит Станиславский, хоть Кутузов и одноглаз, он символ — с воинским зрением орла. Как совместить конкретную правду с исторической?! Вот, Климент Ефремович, социалистическая задача!.. Что-то сейчас болею, все лицо свело. Все лицо, и глаз не смотрит, резь. — Естественно, сердобольному маршалу здесь уж не до Кутузова. Он так, бросил взгляд — уже принято.

— Сергей Дмитриевич, да что же это такое? Что с вами? Вы должны себя беречь, неугомонный. Вы нам нужны... — Скуные мужские объятия.

И пошли пить «Хванчкару» — любимое вино Сталина — и кушать сациви. Мы выползли из-за занавески, переглянувшись. В общем-то все было понятно. Непонятно мне было тогда одно: зачем Меркуров разыграл комедию? Ведь и так было бы принято. Сейчас я это понимаю. Он презирал этих людей. Он все-таки работал с Лениным и с Дзержинским. Поэтому новые партийные вожди-нувориши вызывали у него только отвращение, и он иногда разрешал себе покуражиться, побезобразничать, хоть так компенсируя свое положение: высокооплачиваемого государственного раба.

Прошло некоторое довольно длительное время. Мы сидели и ждали дальнейших приказов. А... маршал кушал, кушал, и Хепс кушал, кушал. Накушавшись, высокопоставленные гости уехали. Вышел веселый и пьяный Меркуров. Указал на повязку и сказал:

— Вот б..., — так иногда он любовно называл свою жену, — замотала, так замотала... Слава Богу, едальную щель хоть оставила. А ну, разматывай меня, ребята... — И мы сняли с его глаза повязку, в этот момент поняв, что и глаз-то был забинтован не тот, который надо было щурить, чтобы вжиться в образ Кутузова.

Да это и неважно. До подробностей ли тут? Такие частности не имеют отношения к истории советского искусства, в которой мы, возможно, когда-нибудь прочтем, что серия бюстов одноглазых полководцев: Моше Даяна и Кутузова, Нельсона и Голенищева — работы скульптора Меркурова Сергея Дмитриевича является вершиной социалистического портрета. Именно потому их автор удостоен всех возможных государственных премий и отличий за не им вылепленную работу, но им проведенную интермедию. Верно сказал мне через много лет менее талантливый, но не менее циничный Вучетич, сменивший Меркурова на посту государственного любимца. Он показал мне на Сталина, которого я лепил для него, и изрек:

— Неважно, как ты мне его вылепишь. Важно, как я ему его сдам...

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Красненькие и зелененькие	3
«Веселые поросята»	7
Двор	12
МОСХ (Московское отделение союза художников)	16
Портретики	18
Хепс	22
Меркуров	28

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ

Лик — лицо — личина

Ответственный за выпуск **В. ЛЯСКОВСКИЙ**
Художник **Л. БЕТАНОВ**

Подписано в печать 14.12.90. Формат 70×108¹/₁₆. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 2,8. Уч.-изд. л. 3,1. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 90 к.

Творческо-производственный центр «Полифакт». 220088, Минск,
ул. Пулихова, 15.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ЦК КПБ. 220041,
Минск, Ленинский проспект, 79. Заказ 1109.

Ernst Neizvestny



Эрнст Неизвестный родился в Свердловске в 1926 году. Офицер-фронтовик. Окончил художественный институт имени Сурикова.

Признание как скульптор обрел после того, как на первой выставке "неформалов" в Москве Н. Хрущев кричал на него, обзывая формалистом. Блестяще закрепил за собой эту репутацию, поставив на могиле Хрущева памятник, в котором сочетанием белого и черного мрамора выразил противоречивость и личности великого реформатора, и времени, в котором мы живем.

В 1976 году был вынужден эмигрировать в США, стать профессором философии Колумбийского университета, начать работать во многих странах мира в реальном масштабе своего таланта. Как писатель в СССР пока неизвестен. Впрочем, как скульптор, по существу, – тоже...

ЭКСПРЕСС - КНИГА
